

Почти серьезно

Автор:

Юрий Никулин

Почти серьезно...

Юрий Владимирович Никулин

«В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле». С этой фразы Станислава Ежи Леца начинается книга Юрия Никулина «Почти серьезно...». Это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других: родных и близких, знаменитых и малоизвестных, но невероятно интересных людях цирка и кино. Книга полна юмора. В ней нет неправды. В ней не приукрашивается собственная жизнь и жизнь вообще.

Откройте эту книгу, и вы почувствуете, будто Юрий Владимирович сидит рядом с вами и рассказывает свою историю именно вам.

Юрий Владимирович Никулин

Почти серьезно

Пожалуйста, не ври!

Когда я сказал маме, что собираюсь писать книгу, она меня попросила:

– Только, пожалуйста, ничего в ней не ври. И вообще, когда напишешь, дай мне почитать.

Я думал, что книгу о себе писать, в общем-то, довольно просто. Ведь я достаточно хорошо себя знаю. У меня, как я думаю, окончательно сформировались характер, привычки и вкусы. Не задумываясь, могу перечислить, что люблю, а чего не люблю. Например, люблю читать на ночь книги, раскладывать пасьянсы, ходить в гости, водить машину... Люблю остроумных людей, песни (слушать и петь), анекдоты, выходные дни, собак, освещенные закатным солнцем московские улицы, котлеты с макаронами. Не люблю рано вставать, стоять в очередях, ходить пешком... Не люблю (наверное, многие этого не любят), когда ко мне пристают на улицах, когда меня обманывают. Не люблю осень.

Настал первый день работы над книгой. Сел за стол и долго просидел, мучительно подыскивая первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл некоторые из них. Как только люди не начинали писать о себе! Прямо зависть берет – какие у всех хорошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы. А мне нужно свое первое предложение.

Хожу по комнате, рассматриваю книги, фотографии (так всегда делаю, придумывая трюки для выступлений в цирке) и пытаюсь сочинить начало. И тут рука сама пишет: «Я родился 18 декабря 1921 года в Демидове, бывшем Поречье, Смоленской губернии».

Мгновенно всплыли в памяти все анкеты, которые приходилось заполнять, и зачеркиваю «оригинальное» начало.

Снова, пытаюсь найти спасение, смотрю на томики книг: Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Михаил Светлов... Вот ведь рассказывали они о своей жизни умно, коротко, выразительно и оригинально. Правда, они писатели, им и положено хорошо писать. А я – клоун. И все, наверное, ждут от меня чего-нибудь особенного, эксцентричного.

Но смешное не вспоминалось. Тогда я решил: начну писать книгу с самого, как мне кажется, простого – с рассказа о том, как проходит у меня обычный день.

День клоуна

Жизнь у людей отнимает страшно много времени.

Станислав Ежи Лец

Все в доме еще спят. Тихо. Тикает будильник. Проснулся на пять минут раньше его звонка.

Проснулся, стал думать о предстоящих делах.

Мысли чередуются примерно так.

Хорошо бы поспать еще...

Какой придумать механизм для новой репризы, чтобы бутафорские тараканы бежали по манежу? С этим и ложился спать, но во сне ничего не пришло в голову.

С тараканов мысль перескакивает на Управление железной дороги, где на сегодня назначена встреча с детьми железнодорожников.

Судя по окнам, на улице небольшой морозец. Почему-то подумалось: хорошо бы отпуск дали летом, съездили бы всей семьей отдохнуть под Канев на Днепр. И тут настроение испортилось: пошевелив ногой, почувствовал боль в колене. Болит мениск, а я-то надеялся, что за ночь пройдет.

С таким настроением нужно встать, сделать зарядку, умыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан еще с вечера на большом картонном листе. В нем примерно двадцать пунктов, и если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо.

Не одеваясь, подхожу к зеркалу (в трусах кажусь себе спортивнее, моложе) и вижу: на меня смотрит высокий плотный мужчина, которому за пятьдесят. Он бросил уже не в первый раз курить, а потому прибавил шесть лишних килограммов. Волосы у этого человека седые, но он их подкрашивает: седой человек в клоунском костюме может вызвать у публики чувство жалости.

С девяти утра начались телефонные звонки. Первый – из Союзгосцирка. Сообщают, что в следующую пятницу – коллегия Министерства культуры. «Может, вам придется выступить», – сказали мне.

За завтраком прочитываю письма, полученные с утренней почтой, а сам думаю, что же сказать на коллегии о проблемах режиссуры в цирке.

Письма разные. Обычно в день приходит пять-шесть писем, но стоит сыграть в фильме или выступить по телевидению, как сразу их поток увеличивается.

В основном пишут дети.

У меня есть интересная книга Михаила Зощенко «Письма читателей». Писатель опубликовал в ней письма, которые он получал. Признаюсь, из писем, которые получаю, книги не составишь, хотя многие я храню – в них серьезный анализ нашей с Михаилом Шуйдиным работы на арене, мнения зрителей о фильмах, где я играю, и просто умные, добрые письма друзей.

За завтраком снова зазвонил телефон.

Обращались с предложением встретиться с «коллективом нашей фабрики».

Потом звоню сам: партнеру Михаилу Шуйдину (уточнил время сегодняшней репетиции), в ЖЭК, чтобы прислали слесаря починить кран в ванной (домашние просят, чтобы в подобных случаях звонил именно я, тогда, мол, быстрее приходят), в мастерские цирка, где нам шьют новые костюмы.

Уже уходил из дому, когда раздался звонок с завода «Компрессор». Давно я обещал побывать там, выступить в обеденный перерыв. Договорились на пятницу.

По пути в цирк нужно заехать в аптеку, взять лекарство и отвезти его маме (она живет со своими сестрами недалеко от меня), у нее подскочило давление, а потом – в Союзгосцирк...

Мама обрадовалась, увидев, что я приехал с лекарством. Она с моими двумя тетками пила чай. Начались расспросы про домашние дела, про цирк. Я то и

дело посматривал на часы: надо обязательно позвонить мастеру, который делает нам специальный реквизит.

От мамы еду на Калининский проспект, в Московский Дом книги: нужно купить двухтомный словарь синонимов для моей жены, Тани, тоже артистки цирка. Она занимается переводами с английского. Потом – в Сокольники, где находится завод стекла. Там делают особую бутылку для новой цирковой репризы. Идея вроде хорошая. Партнер спрашивает меня:

– А ты не пьешь больше?

– Да, завязал, – должен ответить я, вытаскивая бутылку водки, у которой горлышко завязано узлом.

При рассказе реприза многим нравилась, но скольких трудов стоило найти мастерскую, уговорить мастеров-стеклодувов сделать эту странную бутылку. Наконец бутылка у меня в руках, и я вижу, получилось что-то не то. Узел выглядит неестественным. Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки. Огорченный, уезжаю из лаборатории в Союзгосцирк.

В центре столицы, на Пушечной улице, в старинном четырехэтажном здании размещается наше Всесоюзное объединение государственных цирков – Союзгосцирк, или главк, как его называют между собой артисты. Главк – это движущая сила и мозг нашего циркового искусства: артист все время работает по «конвейеру», переезжая из города в город. И нет у нас в стране артистов, скажем, Московского, Ленинградского, Саратовского цирков, все мы – артисты Союзгосцирка (где и формируют программы), которые получают, как у нас говорят, «разнарядку» работать в том или ином цирке.

В коридорах людно. Толпятся артисты, режиссеры, авторы – кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит коромыслом.

Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы и долго потом по всем комнатам искал женщину – страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и Таню. Долго я считал, что страховать свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным

прибором убило на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами Госстраха.

К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом – сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает:

– В цирке умер одногорбый верблюд. Директор говорит завхозу: «Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда». «А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногорбый?» – спрашивает завхоз. «Все равно срежут наполовину».

Слушая анекдот, я вспомнил о предстоящей репетиции. Собрался уходить и увидел клоунов Геннадия Маковского и Геннадия Ротмана. Эта клоунская пара после окончания циркового училища более десяти лет работает вместе. И всюду их выступления проходят с успехом. Ребята только что вернулись из ФРГ. Оба Геннадия радостно поздоровались со мной и вручили лекарство от радикулита. Когда они отправлялись в поездку, я болел. Сегодня здоров, но лекарство, наверное, еще пригодится.

В одном из коридоров встретился старый артист, которого все – и молодые, и его ровесники – зовут дядя Леня. Он поймал меня за рукав и начал рассказывать о своем пенсионном житье-бытье. Чувствую, что опаздываю на репетицию, а он все рассказывает и рассказывает со всеми подробностями, вспоминает друзей, прошлые успехи. Стою и слушаю, понимая, что у дяди Лени только-то и осталась в жизни одна радость – приходиться сюда, где собираются артисты.

Наконец я в цирке на Цветном бульваре. На сегодня назначена репетиция детского новогоднего спектакля. Мы должны пройти интермедии с Бабой Ягой. Эту роль исполняет молодой клоун Дмитрий Альперов.

Репетиция шла хорошо. Наш главный режиссер Марк Соломонович Местечкин остался доволен. Дмитрий Альперов будет смешной Бабой Ягой и не очень страшной, так что во время представления детей-малюток выносить из зрительного зала плачущими не придется. А ведь и такое случалось.

Последние пятнадцать минут репетиции, пока манеж свободен, Таня, Миша и я – вот уже четверть века мы работаем вместе – тратим на разводку мизансцен одной репризы. Мы двигаемся по манежу, переносим воображаемые предметы, а

иногда вполголоса подаем друг другу реплики. Нам важно пройти основные мизансцены. Потом, уйдя с манежа, продолжим работу над репризой в гардеробной – будем придумывать трюки и сообща их обсуждать, отвергать, развивать.

После репетиции захожу в кассу и беру три билета на субботу для друзей.

По пути из кассы заглянул на несколько минут в кабинет Местечкина, и он сообщил мне, что моя встреча со студентами театрального института назначена на четверг, утром.

Время на исходе – скоро три часа дня, надо ехать выступать в Управление железной дороги. Оттуда – домой.

После обеда сел и ответил на несколько писем. Теперь можно минут двадцать подремать. Затем чай – и пора в цирк.

Весь день незаметно для себя готовился к вечернему представлению.

Машина сворачивает с Садового кольца на Цветной бульвар, издали вижу яркие фонари, собирающуюся публику, машины, неоновую рекламу: «Сегодня и ежедневно большие цирковые представления» – и чувствую, как появляется едва ощутимое волнение.

За кулисами, минуя коридор, заставленный реквизитом, бросаю взгляд на листок с программой на сегодня. Судя по тому, что рядом стоят и о чем-то горячо спорят мой партнер Михаил Шуйдин и режиссер-инспектор, догадываюсь – в программу внесено изменение. Действительно, в связи с болезнью одной из воздушных гимнасток их номер снимается, из-за этого придется перестраивать порядок наших реприз.

На длинном столе для реквизита, отдыхая после заправки манежа, сидят, покуривая, униформисты. Один из них, толстый, неуклюжий, подходит ко мне и смущенно говорит:

– Вот я тут приготовил одну штуку, хочу вам показать.

Униформиста зовут Валерой. Он давно уже грозился чем-то удивить.

Я говорю ему:

– Хорошо, приходи в гардеробную.

Гардеробными в цирке называют актерские комнаты, грим-уборные. Кто их так назвал – неизвестно. Но, сколько я помню себя в цирке, всегда говорят «гардеробная».

Поднимаясь по лестнице, сталкиваюсь с группой детей от трех до двенадцати лет. Это дети артистов, ассистентов и других сотрудников цирка. Их не с кем оставить дома, и они, бывает, целые дни проводят в цирке. Да и дома-то как такового в Москве у многих нет. Редко когда в программе столичного цирка одновременно занято несколько москвичей – три-четыре номера, не больше.

Пока не начался спектакль, ребятам раздолье, но после третьего звонка их заставят подняться в артистическое фойе: во время работы их могут случайно зацепить, сбить с ног, а то и лошадь может ударить. В верхнем фойе детей держит в ежовых рукавицах дежурная тетя Оля, которую я знаю больше тридцати лет. Когда я учился в студии клоунады, она работала телефонисткой на коммутаторе цирка, а потом, когда коммутатор упразднили, стала дежурной.

До начала представления остается пятнадцать минут. Многие артисты начали разминку. Увидев меня, тетя Оля сообщает о звонках из редакции журнала «Искусство кино» и из библиотеки имени Пушкина.

У входа в гардеробную стоит клоун Анатолий Смыков. Его отозвали из отпуска и направляют работать в Алма-Ату.

– Надоело мне все, – говорит он, – еще немного поработаю и уйду из цирка.

Я чувствую, что он это говорит так, ради красного словца. Он хороший коверный. Из молодых, пожалуй, один из самых способных. Видимо, просто у него что-то не ладится, какие-нибудь сложности в группе, где он работает. Мы договорились, что встретимся в антракте.

В это время раздаётся второй звонок. Начинаю спешно переодеваться. Только облачился в клоунский костюм, как зазвонил местный телефон. Снимаю трубку.

– Мне Никулина...

– Да, слушаю.

– Юра, привет, это Аркадий.

– Какой Аркадий?

– Да Аркадий, с «Мосфильма». Не помнишь, что ли, шофер?

Голос явно пьяный. Он говорит, что проходил, мол, с приятелями мимо цирка, а сейчас стоит в проходной и просит меня «устроить» всю пятерку (и это десять минут до начала) на представление. Своим родным я беру билеты за неделю вперед! Сдерживая себя, довольно вежливо посылаю его домой и говорю, что, если он еще раз надумает прийти в цирк, пусть звонит трезвый и заранее.

В это время в гардеробную входит Валера, униформист, который обещал показать что-то новое. Он в белой куртке и поварском колпаке. В руках кастрюля.

– Вот, – интригуяще говорит он.

Мы все трое – Миша, Таня и я – смотрим на него. Валера мечтает стать клоуном. И по собственной инициативе пытается во время работы делать, как он говорит, «смешные штучки» – то споткнется о ковер во время смены реквизита, то нарочно уронит что-нибудь... Пока это успеха у публики не имело.

Он стоит в белой куртке, поварском колпаке, с кастрюлей в руках и выжидательно смотрит на нас.

– И что же это будет? – спрашивает Миша.

– Когда начнется погрузка на пароход, я выбегу и упаду... – говорит Валера.

- Ну давай попробуй, - отвечаем мы.

Валера уходит, а мы с Михаилом Шуйдиным, загримированные и одетые в клоунские костюмы, хотим использовать оставшиеся минуты до нашего первого появления на манеже для игры в нарды, столь любимой многими артистами цирка.

Только сели за нарды, открывается дверь, и в гардеробную пулей влетает собака Мила. За ней входит жонглер и дрессировщик Игорь Коваленко. Следом вбегает дочь клоуна Бакуна - крошечная девочка Наташа с круглым, как репка, лицом, с челочкой на лбу.

Наташа с криком «Мива, Мива, Мива!» гоняется за собакой, а та с лаем прыгает на диван, потом на стол, стулья, опрокидывая нарды на пол.

Раздался стук в дверь, и к нам вошел клоун Павел Бакун.

- Дядя Юра, можно? - говорит он.

Странно, когда взрослый человек, с бородой, отец семейства, говорит тебе «дядя». Но так в цирке заведено. Я и сам в свое время клоуна Бартенева называл дядей Васей, а его партнера Антонова - дядей Колей.

- Можно, дядя Юра, я скажу вместо слов «загрузить трюм» - «загрузить трюмо»?

- Попробуй, - отвечаю я. - Но мне кажется, это будет не смешно.

Третий звонок.

Из динамика, установленного в гардеробной, слышатся звуки склянок - спектакль «Мечте навстречу» начался.

Мы с Мишей спускаемся вниз, за кулисы, хотя до нашего первого появления на манеже еще минут шесть. Я подхожу к боковому проходу, гляжу из-за занавески в зал и одновременно высматриваю в первом ряду детей на коленях у взрослых.

Как-то в одном из цирков во время выхода, здороваясь со зрителями, я случайно пожал вместо руки свесившуюся ножку ребенка. Публика это хорошо приняла, смеялась.

С тех пор перед выходом ищу в зале «удобную» ножку (хорошо бы в красном чулке: она выглядит трогательнее и смешней, да и видно ее лучше).

Ножка наконец найдена (увы, в черном чулке). Мы идем по пустому фойе. Навстречу попадают растерянные люди, которые опоздали к началу и теперь мечутся по фойе с билетами в руках, врываясь по ошибке в туалет, теряя перчатки и шапки.

С манежа мы слышим голос Мити Альперова, играющего в спектакле роль администратора цирка:

- Ну где же они, где же?..

- Да здесь мы, здесь! – кричим мы и появляемся в амфитеатре зрительного зала.

Идет очередное цирковое представление. Оно такое же, как все сыгранные, и чем-то не такое, потому что нет двух одинаковых спектаклей. Публика тоже всегда разная. Например, сегодня в зале много приезжих. Они принимают программу иначе, чем москвичи, – более восторженно.

Да и артисты работают по-разному. Сегодня в номере «Акробаты с бочками» артистка упала с плеч своего партнера, небольшой «завал». И сразу номер пошел в другом ритме. Молодые артисты начали нервничать, дважды спутали мизансцены. Их настроение, видимо, передалось униформистам, которые, вынося им реквизит, поставили не в том порядке столы с бочками. Пока исправляли ошибку, возникла пауза, она помешала и нам в работе.

Все одно к одному. После этого номера я всегда зову из публики в манеж мальчика или девочку, предлагая им прыгнуть с бочки, и жду, когда ребенок прижмется к матери и замотает головой, как бы говоря: «Нет, я боюсь...».

А тут мальчик быстро встал со своего места и деловито пошел ко мне в манеж. Я растерялся и поэтому вместо обычной фразы: «А мама твоя пойдет с бочки

прыгать?» (в этом месте публика всегда смеется) – сказал нескладно, что-то вроде: «Сиди, сиди у мамы, завтра будешь!»

Конечно, никто не засмеялся. И я, не «подогретый» смехом, уныло пошел к Мише делать пародию на только что показанный номер.

Правда, потом мы «разогрелись» и вошли в ритм. Но это потребовало больших, чем всегда, усилий.

Перед окончанием первого отделения Игорь Коваленко рассказал мне, что во время сцены погрузки парохода все артисты умирали со смеху – униформист Валера долго толкался среди толпы, выбирая место, где бы упасть, и в результате упал уже за кулисами. Так что публика опять не смогла оценить его трюка.

Второе отделение прошло спокойно, без происшествий. Я был рад, когда, комментируя медвежий футбол, нашел новую реплику: «Медведь Бамбула из кавказского аула». На этой фразе зрители засмеялись.

После представления разгримировались, переоделись и, допив остатки фруктовой воды – во время работы всегда хочется пить, – сдаем ключи дежурной тете Оле.

В цирке уже пусто. На манеже лишь дрессировщик Рустам Касеев. Он заставляет свою медведицу Машку повторять трюк, который у нее не получился на представлении. Это закон цирка. Если что-то не вышло на публике, нужно обязательно повторить после работы.

Пожарники обходят помещение.

День закончился. Обычный день клоуна.

Как я учился ходить

Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого.

Станислав Ежи Лец

В цирк первый раз

Никогда не забудется тот день, когда меня, пятилетнего мальчика, отец повел в цирк. Впрочем, сначала я и не знал, куда мы идем.

Помню, отец сказал:

- Юра, пошли погуляем, - и при этом заговорщически подмигнул матери.

Я сразу понял - на этот раз во время прогулки меня ожидает сюрприз. Сначала мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком. А отец все не говорил, куда мы идем. Наконец подошли к огромному зданию, у входа которого толпилось много людей. Отец, отойдя от меня на секунду (он, как потом выяснилось, купил билеты с рук), вернулся и торжественно объявил:

- Ну, пойдём, Юра, в цирк.

Цирк! Когда вошли в зал, меня поразило обилие света и людей. И сразу слово «цирк» стало для меня реальным, осязаемым, понятным. Вот он - огромный купол, застеленный красным ковром манеж, слышны звуки настраиваемого оркестра... Было так интересно! Ожидая начала представления, я не томился, как это обычно бывает с детьми. Вдруг грянул оркестр, вспыхнул яркий свет, и на манеж, покрытый красивым ковром, вышли участники парада.

В памяти остались слоны-гиганты. Теперь понимаю, что слонов выводили на арену не больше трех-четырех, но тогда мне показалось, что их было с десятков. Были и другие номера, но я их не запомнил.

А вот клоуны остались в памяти навсегда. Даже фамилию их запомнил - Барассета. Одетые в яркие костюмы, трое клоунов выбегали на арену и, коверкая русские слова, громко о чем-то спорили.

Помню некоторые их трюки. У одного клоуна танцевала ложечка в стакане.

– Ложечка, танцуй! – приказывал он. И ложечка, позвякивая, прыгала в стакане.

Клоун после этого кланялся, и все видели, что ложечка привязана к нитке, которую он незаметно дергал.

Произвел на меня впечатление и трюк с цилиндром. Из лежащего на столе цилиндра клоун вытаскивал несметное количество предметов: круг колбасы, гирлянду сосисок, двух куриц, батоны хлеба... А затем на секунду, как бы случайно, из цилиндра высовывалась чья-то рука, и все понимали: в столе и цилиндре есть отверстия, через которые другой клоун, сидящий под столом, все и подавал.

Я воспринимал все настолько живо, что, захлебываясь от восторга, громко кричал. Один из клоунов передразнил мой крик. Все от этого засмеялись.

– Папа! Папа! – затормошил я отца. – Клоун мне ответил, он мне крикнул. Ты слышал?

Когда мы вернулись домой, я прямо с порога объявил маме:

– А меня заметил клоун. Он со мной разговаривал.

Мне настолько понравилось в цирке и так запомнились клоуны, что захотелось, как и многим детям, во что бы то ни стало стать клоуном.

Из ситца с желтыми и красными цветами мама сшила мне клоунский костюм. Из гофрированной бумаги сделала воротник-жабо, из картона – маленькую шапочку с кисточкой, на тапочки пришила помпоны. В таком виде я пошел в гости к одной девочке из нашего двора, у которой устраивали костюмированный вечер. Кто-то из ребят оделся врачом, кто-то изображал подснежник, одна из девочек пришла в пачке и танцевала. А я – клоун и понял, что должен всех смешить. Вспомнив, что, когда клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, я, как только вошел в комнату, тут же грохнулся на пол.

Но никто не засмеялся.

Я встал и снова упал. Довольно больно ударился (не знал я тогда, что падать тоже нужно умеючи), но, преодолев боль, снова поднялся и опять грохнулся на пол. Падал и все ждал смеха. Но никто не смеялся. Только одна женщина спросила маму:

– Он у вас что, припадочный?

На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял – быть клоуном непросто. А вскоре я потребовал, чтобы меня снова повели в цирк: именно потребовал, а не попросил. И меня повели. На этот раз выступал с дрессированными зверями, со своей знаменитой железной дорогой дедушка Дуров, который показался мне необычайно добрым и благородным. Папа в тот же день подарил мне книгу В. Дурова «Мои звери». Это не только первая книга о цирке, память о первых посещениях цирка, о первом выступлении в роли клоуна, но и память об отце, который вручил мне эту книгу с трогательной надписью.

К нам в дом иногда приходил двоюродный брат отца – дядя Яша, полноватый, седой, с усами, напоминающий внешне Дурова. Когда он пришел к нам в первый раз, я радостно закричал:

– Дуров, Дуров к нам пришел!

– Откуда ты меня узнал? – спросил дядя, решив меня разыграть.

С тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, я просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. А дядя Яша никакого отношения к цирку не имел. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться. Своими вопросами о цирке и утверждениями, что он Дуров, я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить.

Моя мама

Самое первое впечатление о маме – большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробочка, в которой хранилась эта мамина шляпа.

В свое время матери прочили славу на подмостках сцены. В молодости она с успехом выступала в провинциальном театре. Но учиться, хотя ее и приглашали, на актерский факультет театрального института не пошла, считая, что должна жить для меня.

Любила мама рассказывать о своем детстве. Жили они у бабушки в Прибалтике, в городе Ливенгофе. Ее отец занимал пост начальника почты. В их семье всегда устраивали праздники, красивые елки. Мама любила доставать фотографии.

– Вот сидит бабушка за столом, вот я, вот твои тетки, мои сестры Нина, Мила, Оля...

Все сестры на старинных, на плотном картоне фотографиях выглядели чинными.

В Москву меня привезли в четыре года. В день нашего приезда на Белорусском вокзале играл оркестр, висели красные транспаранты с лозунгами, на улицах – флаги, портреты. Оказывается, в столице отмечали МЮД – Международный юношеский день – был такой праздник в двадцатые годы.

– Как хорошо в Москве! – сказал я маме. Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник.

С вокзала к нашему дому, на Разгуляй, мы поехали на извозчике, что привело меня в восторг.

Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер пятнадцать по Токмакову переулку, показали на новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям:

– Ну а теперь поедem обратно к бабушке в Демидов.

Когда же выяснилось, что мы никуда не поедem, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал.

Но вскоре к Москве привык. Мама, уходя на рынок или в магазин, строго наставляла, чтобы я ни в коем случае не выходил на улицу, а то, говорила она,

«попадешь под лошадь». Рядом с нашим домом находился знаменитый на всю Москву конный парк Ступина. С утра мимо дома, цокая копытами по булыжной мостовой, проходили мощные, упитанные ломовые лошади. Потом появлялись другие подводы – худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди – угольщики, пронзительно кричавшие:

– Углей, углей! Кому углей? Уг-леее-й!!!

Позже на подводах привозили картофель и слышались крики:

– Картошка-а-а! Карто-о-шка! – кричали дядьки, сидя на мешках.

Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное: «С... арье брем, паем...», что означало «Старье берем, покупаем».

Приходили и скупщики бутылок, к которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки, а взамен получали «уйди-уйди» – небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках.

Маленьким я любил встречать маму: все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идет ли она. Я узнавал ее издали, бежал к ней, а она останавливалась и, расставив руки, ждала меня.

Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет», значит, это твердо: сколько ни проси, ни клянчи.

Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала:

– А ну-ка покажи язык.

Я показывал.

– А почему на языке белое пятно? Обманываешь?

С тех пор пошло:

– Юра, ты вымыл руки?

– Вымыл.

– А ну покажи язык.

– Ладно, ладно, иду мыть, – говорил я.

Вспоминаю Немецкий рынок на Бауманской, там у меня всегда разбегались глаза: на лотках стояли размалеванные кошки – мне они казались прекрасными, продавались глиняные петушки-свистульки.

До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова исцарапана, потому что часто с помощью ножниц я извлекал через щели монетки на кино.

Эта обшарпанная глиняная кошка мало похожа на ту, яркую и красивую, которую мы купили около пятидесяти лет назад на Немецком рынке, но это именно та кошка.

До войны мама была женщиной полной, но когда я в 1946 году вернулся домой из армии, то был поражен: она похудела и стала седой.

– Мама, ты прямо с плаката «Родина-мать зовет!», – сказал я тогда.

В годы войны мама рыла окопы под Москвой, потом работала на эвакуационном пункте санитаркой, возила раненых. После войны устроилась диспетчером на «Скорую помощь», где проработала до пенсии.

Поразительное качество матери – общительность. Если отец сходил с людьми трудно, то мать с любым человеком легко находила общий язык. У нее – где бы она ни работала, ни жила – всегда появлялось много знакомых, друзей.

Мой папа

Мой отец, Владимир Андреевич Никулин, зарабатывал на жизнь литературным трудом – он писал для эстрады, цирка, одно время работал репортером центральных газет «Известия» и «Гудок». Когда я был подростком, он казался мне гением, самым лучшим человеком на свете, лишенным каких-либо недостатков. Папа всегда был полон юмора, энергии, силы и оптимизма, хотя жизнь у него складывалась нелегко.

Детство свое отец провел в Москве. После окончания гимназии он поступил на юридический факультет университета, где закончил три курса. После революции его призвали в армию. В 1918 году он учился на курсах Политпросвета, на которых готовили учителей для Красной Армии. После окончания курсов отец просил послать его в Смоленск – поближе к родным, – мать и сестра отца учительствовали в деревне недалеко от Демидова. Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр. В этом же театре служила и мама – актрисой. Отец организовал передвижной театр «Теревьюм» – театр революционного юмора. Он писал обзоры, много ставил и много играл сам.

Вскоре отец с матерью переехали в Москву (папа получил письмо от своего друга, который советовал ему продолжить учебу на юридическом факультете и предложил поселиться в их квартире, потому что их семью хотели уплотнить... «И мы решили: лучше пусть будет жить кто-нибудь из своих знакомых, чем чужой» – так написал в письме друг отца Виктор Холмогоров).

В Москве мы жили тесно, материально трудно и тем не менее весело. Отец ложился спать в семь часов вечера: клал голову на подушку и накрывался сверху другой подушкой. Пока он спал, мы могли кричать, петь, танцевать – отец ничего не слышал. В одиннадцать-двенадцать вечера он вставал, заваривал крепчайший чай, выпивал стаканов шесть-восемь и садился за стол работать. Писал обычно до рассвета. Иногда утром будил нас с мамой и читал все, что сочинил за ночь. Это может показаться странным – вместо слов «доброе утро» услышать: «Ну ладно, вы проснулись, слушайте. Я прочту вам вступление к конференсу и три репризы».

Отец читал и следил за нашей реакцией. Если мы улыбались (а со сна мы могли только улыбаться), он оставался доволен.

Огромное впечатление на меня произвела фамилия отца, которую я первый раз прочел в одном из сборников репертуара для самодеятельности. Я знал, что печатают крупных писателей, известных людей. А тут под текстом стояла подпись: «Влад. Никулин». Меня это потрясло.

В Демидове отца знал весь город. Еще бы! Он создал там «Теревьюм», руководил местной футбольной командой, которую сам и организовал.

Отец много занимался со мной. Он постоянно придумывал различные смешные игры. Любимое наше занятие – лежать вместе на кровати и петь. В толстую конторскую тетрадь отец собственноручно переписал около четырехсот русских народных песен. Все их я выучил наизусть. Причем мотивы к песням мы часто придумывали сами, и, если вдруг по радио передавали какую-нибудь песню на другой мотив, я страшно удивлялся.

Иногда отец начинал поздно вечером громко петь.

– Володя, что ты делаешь, – возмущалась мать, – все же спят!

– Уже не спят, – смеялся отец, но пение прекращал. Часто дома он читал стихи Лермонтова, Асеева, Есенина, Маяковского, Северянина, Фета и других. Читал отлично. Всегда заботился о своей артикуляции, не забывал ежедневно заниматься специальными упражнениями, развивающими технику речи.

Помню, отец взял меня с собой на прогулку. Он показывал мне, десятилетнему мальчику, дом, где жил в детстве, крыши, по которым ему приходилось убегать от дворников.

И вдруг я представил своего взрослого отца бегущим по крышам – странное ощущение.

Прошло много времени. Когда моему сыну, Максиму, исполнилось десять лет, я тоже повел его на прогулку. Показывал ему дом, где жил, школу, в которой учился, забор, через который мне приходилось перелезть, и сараи, на крышах которых мы спали летом в душные московские ночи.

Наверное, Максиму тоже странно было все это слышать. Видно, все отцы любят вспоминать и показывать, как и где они жили, как проходило их детство.

Все повторяется.

Отец любил, гуляя со мной, рассказывать о шутках и розыгрышах времен его детства. Так, например, набрав телефон цирка, гимназисты вызывали администратора цирка и спрашивали:

– Вам не нужны мальчишки-арабы?

На другом конце провода заинтересовывались и спрашивали, что умеют делать эти мальчишки и откуда они. Отец (а рядом стояли его приятели-гимназисты) сообщал, что их целая семья – пять братьев и они приехали в Москву искать счастья. Мальчишки прыгают, танцуют, глотают шпаги, но питаются только сырым мясом.

В конце разговора назначался час встречи для просмотра мальчишков-арабов. На этом, собственно, шутка и заканчивалась. А дальше гимназисты в своем воображении рисовали картину, как чудо-мальчишков ждут в цирке, представляли, как ходит администратор, нервно теребя ус, а арабов-то нет как нет.

В другой раз отец с друзьями приклеили к дверям мясной лавки записку: «Имеются в продаже свежие соловьиные языки и верблюжьи пятки». А сами на другой стороне улицы ждали, что будет. Минут через десять из лавки выскакивал возмущенный мясник и срывал записку. Видно, кто-то из покупателей спрашивал соловьиные языки и верблюжьи пятки.

Сочинение реприз, интермедий, руководство кружками самодеятельности не давало хороших заработков. Когда нам становилось особенно трудно, отец подрабатывал уроками, занимаясь с ребятами со двора и с учениками из нашей школы русским языком и математикой.

Отец почти не пил, и начатая на каком-нибудь празднике бутылка портвейна могла месяцами простоять на подоконнике. Лишь иногда отец добавлял в чай ложечку вина.

Как-то к нам пришел дальний родственник и остался поужинать.

– А выпить-то у вас есть что? – спросил он. Папа поставил на стол начатую бутылку портвейна. Родственник ее тут же прикончил. Я удивился, как это так – выпить бутылку за вечер! Работая некоторое время репортером газеты «Известия», отец получил пропуск для посещения театров на два лица. И два раза в неделю родители ходили в театр, а возвратившись домой, обсуждали пьесу, игру актеров, оформление спектакля. Отдельные сцены отец «проигрывал» в лицах. Так, еще мальчишкой, я оказался в курсе театральных дел Москвы. Больше всего родители любили Камерный театр, второй МХАТ и Театр Мейерхольда.

Вообще, я всегда знал все наши домашние дела, слушал все разговоры отца с матерью, и что мне приятно отметить с точки зрения взрослого человека – это поразительную верность отца и матери друг другу, их любовь, заботу друг о друге.

Говоря о характере отца, вспоминаю его упрямство и некоторую прямолинейность. Он постоянно клял литераторов, которые с необычайной легкостью по совету редакторов исправляли текст в интермедиях и репризах. Отец предпочитал спорить и отстаивать свое. Дело иногда доходило чуть ли не до скандала, но заканчивалось тем, что материалы других авторов принимали, а его нет.

Часто вспоминаю отца. Иногда приезжаю на Разгуляй просто посмотреть на родные места. И вспоминаю, как много лет назад вот так же шел снег и мы с отцом (он держал меня за руку) шли по заснеженной улице в традиционный поход на Разгуляй купить что-нибудь к вечернему чаю.

Перед выходом из дому отец всегда спрашивал у матери, что купить. Мама говорила:

– Триста граммов горчичного хлеба, маленькую калорийную булочку, хорошо бы сто граммов масла, сто граммов колбаски. Ну и конфеток, если деньги останутся.

Мы с отцом одевались и шли по своему обычному марш руту.

Сначала заходили в булочную. Всегда покупали у одной и той же продавщицы. Каждой из продавщиц придумали имя.

Тихонькую черненькую юркую продавщицу в булочной мы прозвали Мышкой. Толстого, заросшего щетиной мясника прозвали Карабасом.

Когда я возвращался из булочной, отец спрашивал:

– Ты у Мышки покупал?

– У Мышки, – отвечал я.

И мы улыбались.

Все в семье мы были «подробниками». Когда отец или я приносили домой какую-нибудь новость, то рассказывать о ней полагалось обстоятельно, не торопясь, со всеми деталями.

Отец возвращался откуда-нибудь, а мама говорила:

– Ну рассказывай. Итак, ты пришел...

И отец начинал:

– Итак, я пришел около десяти часов утра, позвонил два раза, и дверь мне открыла соседка...

Дальше шел подробный отчет о том, как отец ходил к нашим знакомым.

Меня отец любил. Если кто-нибудь в его присутствии начинал меня ругать, он бледнел и выходил из себя. Он верил в меня, но никогда в глаза не хвалил. Высшая форма похвалы – слова: «Это ты сделал неплохо». Относились ли эти слова к тому, как я сыграл какую-нибудь роль в драмкружке (кружок вел отец в нашей школе), или уже потом, когда он разбирал мою работу в цирке или кино.

Притягивали меня к отцу его доброта, душевность. События в школе, ссора с приятелем, впечатления от прочитанной книги, увиденного фильма – обо всем я неизменно рассказывал отцу и его мнением и советом дорожил. Отец хотел, чтобы я стал актером, и поэтому занимался со мной этюдами, художественным чтением.

Мама мечтала, чтобы я учился играть на пианино. Но если бы и собрали деньги на инструмент, то в нашей комнате его негде было бы поставить. Пришлось довольствоваться хоровым кружком в школе. Отец поддерживал во мне стремление петь, слушать пластинки, музыкальные передачи по радио. Он подарил мне толстую тетрадь, в которую я записывал слова песен, услышанных по радио или в кино.

Когда я женился и стал жить у Тани, отец очень переживал и ревновал. Приезжая к нему, я чувствовал, что он всегда рад меня видеть. Вхожу в дом, а отец спрашивает:

– С ночевкой?

– Да, – отвечал я.

Отец радовался, заваривал чай и смотрел на меня влюбленными глазами.

Наша квартира

В коммунальной квартире под номером один на первом и единственном этаже деревянного, с облупившейся зеленой краской дома мы занимали девятиметровую комнату. Окно с занавесочкой, зеленые обои, небольшой квадратный обеденный стол в углу, за ним же занимался отец, а я умудрялся делать уроки. Рядом – кровать родителей, здесь же сундук, на котором спали часто гостившие у нас родственники. По всем углам комнаты лежали кипы газет и журналов (отец запрещал их выбрасывать). На ночь из коридора для меня приносили раскладушку. Это была деревянная походная кровать, проданная нам старушкой соседкой по двору. На ней во время русско-японской войны спал в походах ее покойный муж, полковник русской армии. Кроватью я гордился. Мне даже казалось, что она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол: гвоздики, державшие мешковину, проржавели, да и сам

материал прогнил. Раскладушку полковника на другой день отремонтировали, прибавив новый материал, и я спал на ней до окончания школы.

Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. Старики Холмогоровы – в прошлом домовладельцы – жили вместе со своими взрослыми сыновьями Гавриилом Михайловичем и Виктором Михайловичем, с их женами (я их называл тетей Галей и тетей Калей) и их дочерьми Ниной и Таней. Всего в квартире жило одиннадцать человек.

С девочками, двоюродными сестрами Таней и Ниной, мы учились в школе в одном классе. Часто вместе играли.

К счастью, наша квартира не представляла собой типично коммунальную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до вечера жужжали примусы и звякала посуда, никто никогда не ругался: наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли душевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или новый кинобоевик с Мэри Пикфорд в главной роли.

Наши семьи сближало то, что мой отец учился вместе с дядей Витей и дядей Ганей в одной гимназии.

Часто взрослые собирались в большой комнате – мы ее звали залой – послушать радио. Из Большого театра постоянно транслировались оперы. Наши мамы сидели с вышиванием в руках и, буквально млея, слушали Нежданову, Барсову, Лемешева, Козловского, Норцова. А мы, дети, любили проводить вечера в холмогоровской столовой. Усядемся за столом и, каждый занимаясь своим делом (я рисовал, выстраивал солдатиков, девочки шили платья для кукол), слушаем чтение Юлии Михайловны. Баба Юля, попыхивая папирской «Бокс», читала вслух Майн Рида, Жюль Верна, Луи Жаколио.

В маленьком узком коридорчике, напротив нашей двери, стоял огромный, окованный железом старинный сундук Холмогоровых. Это из его недр извлекались для домашних спектаклей пропахшие нафталином бабушкины салоны, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, кружевные пелеринки. Замок у сундука особый – с боем: повернешь в нем ключ, и слышится мелодичное – блим-бом... блим-бом... Однажды я сделал открытие: оказывается, если сильно ударить каблуком по стенке сундука, то тоже раздавалось блим-бом. Когда

приходили ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность сундука.

В столовой у Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме картина: портрет какого-то мужчины в парике, как у Ломоносова, с круглыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо засижено мухами. Кто писал портрет и кто на нем изображен, об этом в семье никто не знал. Он достался по наследству от прабабушки бабы Юли.

Помню, подростком, запоем прочитав повесть Гоголя «Портрет», я в тот же день выбрал момент, когда все разошлись по своим комнатам, прокрался в столовую и долго смотрел в глаза изображенному человеку, надеясь уловить в его взгляде что-нибудь мистическо-демоническое, но, сколько ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож, я с трепетом исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот-вот нож звякнет о спрятанное там золото. Конечно, никакое золото не звякнуло, лишь из щелей выползло несколько клопов...

К Холмогоровым я относился по-разному. Старика – Михаила Гавриловича, который иногда на нас, детей, покрикивал, я побаивался. С бабой Юлей нередко затевал спор о существовании Бога. Она регулярно ходила в церковь, крестилась перед обедом.

Из всех Холмогоровых больше всего я уважал и любил Гавриила Михайловича – дядю Ганю. Красивый, с фигурой спортсмена, с сильными, жилистыми руками, он был в доме самый деловой и самый добрый. По профессии инженер, дядя Ганя был мастером на все руки. Испортится кран, перегорят пробки, случится какая-нибудь другая поломка в доме – все исправит.

С работы дядя Ганя возвращался позже всех; усталый, с почерневшим лицом, он быстро съедал наспех разогретый обед. Нам, детям, он посвящал выходные дни. Ходить на каток, на лыжах вместе с ним – одно удовольствие. Нередко он брал нас с собой в кино. Перед обаятельной улыбкой дяди Гани не мог устоять ни один администратор кинотеатра. Дядя Ганя умудрялся доставать билеты в кино за пять минут до начала сеанса.

Первый раз в жизни я катался на легковой машине именно с дядей Ганей. В один из Первомайских праздников он решил покатать нас и показать иллюминацию. Мы сели вместе с Ниной и Таней в чудесную квадратную карету без лошадей и

понеслись по улицам Москвы. Мне казалось тогда, что я самый счастливый человек: и почему только никто на улицах на нас не смотрит? Ведь мы едем на автомобиле!

А вечером дед Холмогоров басом выговаривал дяде Гане:

– С ума сошел, детей баловать – на таксомоторе катать. Дядя Ганя порой, видя, что нам туговато, сам предлагал родителям дать в долг. Когда я играл у них в комнате с девочками и родители готовились к ужину, дядя Ганя всегда говорил жене:

– Юру-то накорми тоже.

Великим событием для всех в доме стало его вступление в партию. В тот же день дядя Ганя под причитания стариков демонстративно снял в кухне иконы.

– У себя в комнате вешайте их сколько угодно, а здесь общественное место. Люди ко мне придут, стыдно будет.

«Я веселый, я не грустный...»

«Я веселый, я не грустный...» – так начиналась песенка, которую мы, дети, пели на нашем первом домашнем спектакле. В большой столовой мы показали придуманный и поставленный отцом спектакль-обозрение «Блин», в котором принимали участие ребята с нашего двора и мой отец.

Спектакль приурочили к Масленице. В школу я тогда еще не ходил, и, если не считать попытки сыграть клоуна, «Блин» – мое первое выступление. Между интермедиями над простыней-занавесом проплывал затянутый желтой бумагой обруч. С обратной стороны он подсвечивался лампочкой (всю техническую часть – свет, раздвижение занавеса – обеспечивал дядя Ганя). Это и был Блин: с глазами, ртом, носом. На всю жизнь запомнилась песенка, которую мы пели хором:

Я веселый, я не грустный,

Я поджаристый и вкусный,

Я для Юрок, Танек, Нин —

Блин! Блин! Блин!..

В финале спектакля после веселых приключений в лесу мы все садились за стол и ели настоящие, специально испеченные для представления блины со сметаной и маслом.

Помню и другой спектакль-обозрение, в котором мы изображали наших кинокумиров: я – Гарольд Ллойда (канотье, роговые очки, пиджачок и ослепительная, как мне казалось, улыбка), а мой друг Коля Душкин – Дугласа Фербенкса (у него платок на голове, в ушах серьга, в руках хлыст), другие – Мэри Пикфорд, Вильяма Харта. Все мы пели, танцевали.

Мамины сестры часто дарили мне книги. Среди них – «Маугли» Киплинга (ее я знал наизусть), «Робинзон Крузо» Дефо, «Каштанка» Чехова.

Над «Каштанкой» я плакал. И зачем она ушла от клоуна?.. Я ненавидал мальчишку, сына столяра, который на веревочке давал мясо собаке. И почему она вернулась к столяру, где пахло клеем, стружкой и где ее снова могли мучить? Этого я не понимал. На мой взгляд, Каштанка поступила неправильно.

Животных – это пошло от отца – я любил. Сколько разных белочек, ежиков, черепах, кошек и собак перебивало в нашей квартире! Помню одноглазого Барсика, глаз он потерял в драке; полусибирскую кошку, которую отец окрестил Родней; кота Дотика. Отец мог подобрать на улице голодного, облезлого кота, принести домой и долго выхаживать. Как только появлялась в доме лишняя кошка, мама, несмотря на мольбы отца, куда-нибудь ее пристраивала.

Отец любил животных и серьезно разговаривал с ними, как с людьми, уверяя, что они все понимают, но просто не подают вида. У отца все в семье были такими – почти со священной любовью к животным. Брат отца, дядя Миша, держал дома семь собак шпицев и нескольких кошек.

Со всеми кошками, собаками, со своими игрушками я мог разговаривать часами, потому что верил, что они меня понимают и им это интересно. Только они ответить не могут.

Как-то я бросил камень в дерево, и отец сказал:

– Что ты сделал, дереву же больно...

И я поверил в это.

Никогда не забуду подарок отца – детекторный приемник. Чтобы поймать радиостанцию, приходилось долгое время крутить рычажки настройки. Наконец в наушниках раздавалось сначала хрипение, а потом слышался голос диктора, пение. Часами я наслаждался первым в моей жизни приемником. Поймать удавалось только Московское радио.

Потом в доме появился громкоговоритель. Потрясенный, я смотрел на издающую звуки «тарелку» – все так хорошо и чисто звучало. В двенадцать ночи мы слушали бой часов кремлевской башни, потом звучал «Интернационал». Сначала слышался шум улиц, площади, бибиканье машин, а затем били куранты.

«А что, если, – думал я, – попросить кого-нибудь пойти на площадь и крикнуть, можно ли будет это услышать?» Хотелось самому пойти туда и чтобы кто-нибудь слушал мой голос по радио.

Мне доставляло удовольствие слушать по радио песни.

К музыке, к песням я тянулся с детства.

Славилась в нашей семье исполнением песен тетя Мила. Голос у нее приятный, пела она всегда с чувством. А когда я слышал «Русалка плыла по реке голубой» в ее исполнении, песню на слова Лермонтова, мне становилось грустно и даже хотелось плакать.

В Москве меня, еще дошкольника, повели на оперетту «Корневильские колокола». Оперетта мне понравилась.

Отец одного из моих товарищей по двору собирал пластинки и часто устраивал у себя вечера прослушивания, на которые приглашались ребята. С удовольствием по многу раз мы слушали Л. Утесова, В. Козина, И. Юрьеву, Т. Церетели, а также старинные граммофонные пластинки.

В годы моего детства многие отмечали Рождество. Но нелегально, дома. Запрещалась и елка. Во многих школах висел тогда плакат: «Не руби леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты пошел на елку, значит, ты не пионер».

Дома отец с кем-то разучивал репертуар для самодеятельности, и я услышал такие строчки: «Долой, долой монахов, раввинов и попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов».

- Папа! Значит, Бог есть? - спросил я.

- Почему? - удивился отец.

- Ну как же, - говорю я. - Раз залезем и будем разгонять значит, Бог есть? Значит, он там, да?

Хотя елку родители мне не устраивали, но в Деда Мороза, приходящего к детям на праздники, я верил. И перед Новым годом всегда выставлял ботинки, зная, что Дед Мороз обязательно положит в них игрушку или что-нибудь вкусное. Случалось, что несколько дней подряд я выставлял ботинки, и Дед Мороз все время в них что-нибудь оставлял. Но в одно январское утро я подошел к ботинку, а там лежал завернутый в лист бумаги кусок черного хлеба, посыпанный сахаром.

- Да что, Дед Мороз обалдел, что ли? - спросил я громко, возмущенно и с горечью (у родителей, оказывается, просто деньги кончились, и они ничего не смогли купить).

Отец сказал:

- Надо будет мне поговорить с Дедом Морозом.

На следующий день Дед Мороз положил в ботинок пряник в форме рыбки.

Зимой, когда на дворе стояли сильные морозы, мама с утра, кутаясь в платок, говорила отцу:

- Володя, надо затопить пораньше печку.

Отец, надвинув на глаза кепку, прихватив колун и пилу, шел со мной в сарай. Мы пилили сырые дрова. Потом он их колол. Затем вместе приносили дрова домой, с грохотом сбрасывали их на железный лист, прибитый к паркету около кафельной печки.

Конечно, я любил щепками и корой растапливать печь, а потом, когда сырые дрова разгорались, смотреть на огонь.

Вечерами, стоя спиной к печке, грелась мама. Отец пил чай. Я лежал на раскладушке и слушал, как родители переговариваются.

Потом начинал мечтать. Представлял себе, что есть у меня удивительная машина. Управляется она кнопками. Я на ней еду куда хочу. Машина способна пройти везде: и по ямам, и по горам, даже по воде. А если нужно, она пойдет и по воздуху. И когда я так минут пять на своей машине «ехал», то обычно засыпал.

Наш двор

Когда я смотрю на картину Поленова «Московский дворик», мне сразу вспоминаются дворики нашего переулка. За кирпичным двухэтажным флигелем одного из домов нашего двора находился небольшой – он мне казался громадным – неухоженный сад. Посреди него холм, обсаженный кустами, мы называли его курганом. Между высокими деревьями в центре сада разбили клумбу, а кругом рос дикий кустарник, вдоль забора – трава с зарослями лопуха. С годами сад уменьшался, потому что засохшие деревья спиливались и на освободившемся месте появлялись деревянные сарайчики.

Во дворе собирались ребята из нашего и соседних домов. Старшие гоняли голубей, играли в «расшибалочку», тайком курили в саду за курганом. Мы же, мелюзга, играли в «казаков-разбойников», прятки, лунки, салочки. Позже узнали о волейболе и футболе. Во время футбола часто вылетали стекла в квартирах. И время от времени сообща собирались деньги на стекольщика.

Событием для всех становился приход в наш двор музыкантов, шарманщиков с попугаем. Иногда приходил аккуратно одетый человек и, положив перед собой шляпу на землю, начинал петь. Он исполнял много песен. Мы стояли вокруг и

слушали артиста. Тут же открывались многие окна домов. Все с интересом слушали концерт, а потом бросали завернутую в бумажку мелочь.

В душные летние московские ночи некоторые ребята спали на крышах сараев. Приносили из дома какие-нибудь старые шубы, коврики, матрасы, расстилали их на крышах и устраивались на ночь. Когда я стал постарше, мать, к величайшей для меня радости, иногда тоже разрешала мне ночевать на крыше. Обычно нас собиралась компания из пяти-шести человек. Конечно, о сне не могло быть и речи. Сначала пели песни, потом вполголоса каждый рассказывал страшные истории, необычайные случаи.

Лежа на спинах, смотрим на небо, усеянное звездами, и слушаем звуки ночной Москвы: длинные гудки паровозов доносятся с Курского вокзала, резкие клаксоны автомобилей и отдаленный звон трамваев. Засыпали, как правило, когда небо совсем светлело. А иногда, заснув, вдруг просыпались от крупных капель дождя. Тогда разбегались досыпать по домам.

Все ребята во дворе имели прозвища. Зудилина звали Будильником, одного парня – Паташоном, другого Сапогом, а меня Психом.

Как-то во дворе одному из ребят я сказал:

– А ты у нас псих ненормальный.

– Что такое псих? – переспросили меня.

– Сумасшедший, психически больной, – объяснил я. Все засмеялись, и меня с тех пор начали называть Психом. Кроме обычных игр, мы любили довольно странные развлечения. Кто-то придумал розыгрыш – «проведите меня». Из компании ребят, собиравшихся у ворот нашего дома, выбирался один – «заводила» (обычно выбирали меня, так как я, по мнению товарищей, делал все очень натурально). «Заводила» должен отойти по переулку метров за сто от нашего дома и, выбрав кого-нибудь из прохожих, обратиться с просьбой:

– Проведите, пожалуйста, меня, а то ребята вон из того дома хотят меня побить.

И тут разыгрывалась сцена нападения. Толпа у ворот кричала издали:

– Вот он, вот он! Бей его, бей!

Я, моля о защите, прижимался к прохожему. Женщина или мужчина, сопровождавшие меня, начинали кричать на ребят, зывали к милиции. А друзья делали вид, будто нападают на меня. Когда опасность, якобы угрожавшая мне, миновала, я благодарил защитника и нырнул во двор какого-нибудь дома, где некоторое время пережидал. А потом начиналось все сначала. Один раз нас «купили». Здоровый дядька в меховой дохе, взяв меня крепко за руку, сказал:

– Идем со мной, не бойся.

А когда поравнялся с группой моих товарищей, вдруг, подтолкнув меня к ним, крикнул:

– А ну-ка дайте ему как следует!

И стал ждать, что будет.

Друзья мои растерялись, а я стоял как дурак. Надо же, попался такой кровожадный дядька. Мой приятель Толя, по прозвищу Паташон, с обидой крикнул ему вслед:

– Тебе самому надо дать!

Мистификация не состоялась.

Возникала у нас и вражда. Подерутся двое парней из разных дворов, и начинается месть. Мы боимся ходить в одиночку мимо их двора, они – мимо нашего. В зависимости от «военной обстановки» менялся и мой маршрут в школу. Приходилось делать крюк, чтобы миновать дом номер семь, где мог получить затрещину. Пользовался и системой проходных дворов, что помогало, но не всегда. Как-то иду я через «нейтральный мирный двор», спокойно насвистываю песенку, а тут подбегают ко мне мальчишки:

– Из какого дома?

– Из пятнадцатого.

– Это у вас Витька Сапог живет?

– У нас.

– А-а... Так это он нашего Алика вчера отлупил?

И тут мне, конечно, досталось.

Ближе всех во дворе мне был Коля Душкин. Дружба наша возникла после драки, во время которой я поранил Николаю голову рукояткой пугача. Увидев залитое кровью лицо товарища, я убежал в сад и спрятался в кустах, уверенный, что убил Колю. Нам было по семь лет, и мой страх, паническое желание куда-то скрыться, я думаю, можно понять и объяснить. Через несколько часов мы помирились, потом стали закадычными друзьями.

На всю жизнь сохранился у меня в памяти первый услышанный анекдот. Мне рассказал его Коля Душкин: «К одному офицеру приходит полковник и стучится в дверь. Открывает денщик, а полковник говорит: “Передай своему барину, что пришел полковник”. Денщик вбегает, бледный, к офицеру и говорит: “Ой, барин, к вам пришел покойник”. И барин от страха полез под кровать».

Я долго смеялся. Подходил ко всем во дворе, рассказывал анекдот и обижался, если кто-то не смеялся.

Когда нам исполнилось по двенадцать лет, мы с Колей заключили между собой «Союз Красной маски». Книгу «Красная маска» Николай прочел еще летом в деревне, куда ездил отдыхать со своим отцом-железнодорожником. Захлебываясь от восторга, он не раз пересказывал мне подробно содержание книги о добром разбойнике Красная маска и его верном друге Иоганне. Так Коля стал Красной маской, а я Иоганном (сокращенно Ио). По условиям нашего тайного союза Иоганн обязан беспрекословно подчиняться всем указаниям вожака. Никто из ребят ни во дворе, ни в школе о нашей тайне не знал, но часто во время игр если начинался спор о чем-либо и я входил в азарт, то раздавался грозный голос Коли:

– Ио!

И я тут же смирялся.

В маленьком чуланчике в подвале нашего дома мы проводили регулярно тайные собрания общества. Окошко без стекла, выходившее в палисадник, служило нам тайником. Если просунуть руку в окошко и сбоку у стенки отодвинуть доску, то в нише можно обнаружить наши сокровища: красную маску из бархата, старинную металлическую пороховницу, наполненную настоящим порохом, ржавый кинжал в ножнах и, главное, свернутую в трубку бумагу, на которой мы записали клятву верности друг другу. Клятву мы подписывали кровью – выдавливали ее из пальцев, предварительно уколов их гвоздем. Во время тайных совещаний наши сокровища извлекались, а текст клятвы непременно перечитывался. Потом мы по очереди играли кинжалом, а иногда, отсыпав щепотку пороха, поджигали его. Красную маску Коля надевал только один раз, когда мы подписывали клятву. С тех пор я доверял Николаю все свои тайны, он рассказывал мне все о себе.

Во время революционных праздников всем двором мы ходили смотреть проход воинских частей на Красную площадь. Чтобы не проспать войска, проходившие по Гороховскому переулку, мы вставали в шесть часов утра. Будил меня всегда Николай. Накануне, ложась спать, я привязывал к ноге длинную бечевку и конец ее выводил в форточку. Коля дергал за бечевку, и я тут же вставал.

В Октябрьские праздники в шесть утра еще темно. Невыспавшиеся, мы дрожим от утреннего холода. И вот слышим цоканье копыт вдалеке, и появляются первые ряды кавалеристов. С завистью мы смотрели на красноармейцев с шашками и пиками. Хоть бы один раз так прокатиться! «Вот так, наверное, – думал я, глядя на кавалеристов в буденовках, – они и идут в бой. Вот бы проехать на лошади, с шашкой на боку!» Даже от одной этой мысли захватывало дух.

Во дворе мы часто играли в войну. На соседнем дворе в бывшей старообрядческой церкви находился «Театр рабочих ребят». (Был такой в тридцатые годы.) И как-то через щель в заборе мы увидели, что грузовик подвез к театру массу диковинных вещей: пальму, уличный фонарь, собачью будку и стог сена. Стог – фанерный каркас, обклеенный крашеной мочалкой, – мы притащили к себе во двор. Лучшего помещения для штаба и придумать невозможно.

Играли допоздна в войну. Вечером во дворе появился милиционер с пожилым человеком, у которого был растерянный вид. Потом мы узнали, что он работает реквизитором в театре.

Милиционер, увидев на «стоге сена» надпись «Штаб», деловито спросил:

– Где начальник штаба?

Я вышел вперед. На голове пожарная каска, руки в старых маминых лайковых перчатках – вполне начальственный вид.

– Так, – сказал милиционер. – Стог – быстро в театр. Там через пять минут начинается спектакль. А сам пойдешь со мной в милицию.

Стог мы отнесли, а до милиции дело не дошло. Простили по дороге.

Так закончилось мое первое соприкосновение с театром. А потом я был и в самом театре, смотрел «Чапаева». Когда в конце спектакля Чапаев погиб, я горько заплакал. А после окончания спектакля бежал радостный к матери, сидящей в другом конце зала, и, зареванный, но со счастливой улыбкой, кричал:

– Мама, мама! Он жив! Он выходил кланяться.

Многие пьесы, которые мы смотрели с ребятами в соседнем театре, потом разыгрывались нами во дворе. Мне давали роли злодеев, а все героические исполнял Коля Душкин. Он считался самым красивым мальчиком не только в нашем дворе, но и во всем переулке.

Что Коля красивый мальчик, я узнал от мамы, которая каждый раз в разговорах с соседями восхищалась его красотой. Среднего роста, крепко сбитый, с большими черными глазами, Коля и сам знал, что он красивый. Как-то раз он сказал мне, что к празднику ему сошьют белую матроску, которая пойдет к его глазам.

Во время наших футбольных баталий Коля великолепно стоял в воротах, а позже стал вратарем сборной школьной команды.

После военных событий на озере Хасан приехал с Дальнего Востока Миша Душкин, старший брат Коли. Он участвовал в боях, и его наградили медалью «За отвагу». Для нашего переуллка это стало событием. К нам во двор приходили посмотреть на Михаила из других домов. Ну конечно, мы, подростки, не отходили от него ни на шаг. По просьбе Николая его брат разрешил мне даже потрогать медаль рукой. Коля ходил рядом с братом сияющий, и, когда мы спрашивали его, о чем рассказывал брат, как там в бою, Коля хмурил свои черные пушистые брови, делая серьезное лицо, и говорил:

– Жарко там было. Жарко!

После седьмого класса Коля поступил в военную спецшколу. Я в душе завидовал ему. Прельщала военная форма. Но когда я намекнул родителям о спецшколе, они в один голос стали возражать, а отец сказал:

– Военный из тебя получится никудышный, не твое это призвание.

Образцовая школа

Хотя я родился в декабре 1921 года, в школу решили меня отправить в 1929 году, не дожидаясь исполнения восьми лет (в то время в первый класс принимали с восьми лет).

Первый раз в школу (правда, с опозданием на пятнадцать дней, потому что мы задержались в деревне) меня повела мама. Школа от дома была довольно далеко, и дважды требовалось переходить дорогу. Встретила нас учительница Евгения Федоровна. В пенсне, в синем халатике с отложным белым кружевным воротничком, она сразу мне понравилась.

– Пойдем, Юра, в наш класс, – сказала она и увела меня от мамы.

Я просидел первый урок. Все шло хорошо. Для меня, правда, все было ново и чуть страшновато, но интересно. Читать, считать и немножко писать меня научили до школы родители, и я не чувствовал на уроке, что отстал от ребят.

Началась перемена. Евгения Федоровна вышла из класса, и тут все ребята накинулись на меня с криком: «Новенький! Новенький!». С испугу я начал дико

орать. К счастью, в класс вошла Евгения Федоровна.

На другой день мама, подведя меня к школе, ушла. Я вошел в вестибюль и растерялся: забыл, где находится наш класс. Подходил ко всем и спрашивал:

- Вы не скажете, где класс, в котором учительница в пенсне?

Почему-то меня повели в четвертый класс. Там действительно учительница носила пенсне, но меня она, конечно, не признала. С опозданием, к концу урока, я все-таки попал в свой класс.

Уже в первом классе я стал понимать, что есть профессии куда более интересные, чем клоун. Например, пожарник или конный милиционер. И все-таки, когда учительница спросила: «Кто хочет участвовать в школьном концерте?» - моя рука тут же взметнулась вверх.

Первая роль - Горошек. С большим куском картона, на котором нарисовали зеленый горошек, я участвовал в сценке «Огород». Нас, десятерых мальчиков, поставили в ряд на сцене, и каждый по очереди, сделав шаг вперед, должен был произнести несколько стихотворных строчек об овоще, который он изображал. Мне велели выучить такие строчки:

Вот горошек сладкий,

Зерна, как в кроватке,

Спят в стручках усатых.

Последним в строю - возможно, из-за маленького роста - поставили меня. Все ребята быстро прочли стихи. Настала моя очередь. Я делаю шаг вперед и от волнения вместо стихов произношу:

- А вот и репка!

После этого я помолчал и встал на свое место.

Зал засмеялся, ибо получилось неожиданно - все читали стихи, а один просто назвал овощ, при этом перепутав горох с репкой. Посрамленный, я ушел со

сцены. За кулисами учительница, посмотрев на меня строго, сказала:

– А ты, Никулин, у нас, оказывается, комик!

После концерта я сделал два вывода: первый – быть артистом страшно и трудно, второй – в школе комиков не любят.

16-я школа (потом ей дали номер 349), в которой я учился, считалась образцовой. К нам постоянно приезжали различные методисты, инспектора, часто посещали школу зарубежные делегации. С нами работали педологи. Они определяли умственные способности. Была такая профессия в конце двадцатых – начале тридцатых годов – педолог. На основании различных тестов делали заключения о развитии ребенка, его умственных способностях. Меня педологи продержали очень долго. Все я делал не так. И они пришли к выводу, что способности мои очень ограничены, чем отец крайне возмутился. Он ходил к ним выяснять отношения и доказывал, что я нормальный ребенок с хорошими задатками.

Мне запомнились встречи с нашими любимыми писателями Львом Кассилем и Аркадием Гайдаром.

Аркадий Гайдар, с короткой стрижкой, внешне напоминающий боксера, остался в памяти как человек энергичный и обаятельный. Он читал нам главы из книги «Военная тайна».

Я в то время учился в шестом классе и занял второе место на районном конкурсе за рассказ «Ванька-разведчик», поэтому меня подвели к Гайдару и сказали:

– А это у нас начинающий писатель.

Аркадий Петрович пожал мне руку и сказал:

– Приходи во Дворец пионеров (он назвал число), я буду беседовать с ребятами, которые пишут.

К сожалению, на эту встречу я не попал – заболел очередной ангиной.

Лев Кассиль – худой, с вытянутым лицом, с милой, доброй улыбкой – увлекательно рассказывал нам о своей поездке с советскими футболистами в Турцию.

Часто бывали у нас и артисты Московского театра юного зрителя, встречи с которыми тоже запомнились. И мы просмотрели все тюзовские спектакли.

Для многих костры – это запах смолы, отсветы огня, темное небо над головой. А у нас костры проводились в школе. Красной бумагой обертывали лампочки, резали алый шелк на длинные ленты, прикрепляли их к вентилятору. Обкладывали все это сооружение поленьями, и костер начинал «полахать». Вокруг костра мы пели, танцевали, декламировали.

В то время все увлекались танцем «Лезгинка» – ходили на носочках, размахивали руками с криками «ас-са». И вот на одном из костров я появился с утрированно большим кинжалом в зубах (сделал его из доски), в огромной папахе и, исполнив несколько танцевальных па, стал мимически изображать, будто бы вокруг меня что-то летает. Я отбиваюсь, отмахиваюсь – ничего не помогает. И тогда в ужасе вместо привычного «ас-са» вопил на весь зал: «Пчела! Пчела!» Все ребята смеялись.

Отец вел в нашей школе драмкружок. Мама входила в состав родительского комитета, помогала в библиотеке выдавать книги, постоянно шила костюмы для участников художественной самодеятельности. Этой работе родители отдавали много времени. Отец постоянно ставил сатирические обозрения, которые сам придумывал. Он написал для меня и моего товарища по классу клоунаду на школьную тему.

В свой кружок отец принимал всех желающих. Занимались в нем и ребята, которые плохо учились. Отец любил ребят. Он открывал способности у тех, на кого учителя махнули рукой. И впоследствии, когда учителя говорили ему, что эти ребята стали лучше себя вести на уроках, исправили плохие отметки, он страшно гордился, что это результат благотворного влияния искусства.

Остался у меня в памяти и школьный вечер, посвященный творчеству Горького. Сценарий вечера написал отец, включив отрывки из «Детства» Горького. Я играл Алешу Пешкова. Выходил с книгой сказок Андерсена и читал (так начиналась инсценировка): «В Китае все жители – китайцы и сам император – китаец...»

Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру мечталось: а что будет, если вдруг приедет к нам в школу Горький? Посмотрит он нашу инсценировку, ахнет и скажет: «Как здорово этот мальчик сыграл Горького! Верно, я был таким».

Играть Горького мне нравилось. Конечно, я не говорил на «о» и вообще старался оставаться самим собой. Просто представлял себе – я маленький Горький. Чем ближе подходил день спектакля, тем больше верилось, что Горький приедет к нам. Но Горький на вечер не пришел.

Играл я однажды и роль мальчика-китайца в небольшой пьеске. Действие происходило в годы Гражданской войны. Мальчика-китайца красные посылают на станцию, занятую белыми, поручая ему любым способом отвлечь их внимание. Мальчик показывает белогвардейцам фокусы, и, пока те смотрят его выступление, красные окружают станцию и потом занимают ее.

Чтобы сыграть своего китайца похожим, я по совету отца ходил на рынок и долго присматривался, как ведут себя китайцы-лоточники, как они разговаривают, как двигаются.

Мне пришлось научиться немного жонглировать и попотеть вместе с отцом, придумывая и разрабатывая технику фокусов. Шарик, который пропал таинственно из моих рук (он уходил на резинке в рукав), неожиданно появлялся под фуражкой у поручика (был заранее спрятан такой же).

Ребята-зрители принимали мои фокусы всерьез и потом долго допытывались, как я это делал. Но я хранил профессиональные тайны и ничего не объяснял.

В финале нашей постановки, когда станцию занимали красные, я с криком: «Последний фокус!» – показывал пустую корзинку, а затем выхватывал из нее красный флаг (он был спрятан под двойным дном). Зрители принимали конец спектакля на ура и долго аплодировали.

В детстве были у меня свои боги. Среди них – певцы Лемешев, Козловский, артист кино Михаил Жаров. Как-то я шел по улице в центре Москвы и вдруг увидел Михаила Жарова. Пять улиц я шел за ним. Смотрел влюбленными глазами. Артистов считал людьми удивительными, недостижимыми.

Когда закрылся «Театр рабочих ребят», то в его помещении организовали Дом художественного воспитания детей.

В нем открыли несколько кружков: танцевальный, драматический, музыкальный и фото. Я записался в драматический. Драматической студией, как мы именовали кружок, руководил артист Преображенский, которого мы все очень любили. Стараясь развить фантазию, он ставил с нами этюды. Помню, он предложил нам массовый этюд.

– Вообразите себе, что сцена – улица, – сказал он. – Я выйду на улицу и начну смотреть на небо. Просто так. Каждый из вас – прохожий. Вы должны подходить ко мне по одному и тоже смотреть заинтересованно наверх, думая, что на небе что-то происходит. Но нужно не просто подойти, а и сказать свою фразу.

Начали этюд. Каждый студиец подходил к смотрящему вверх преподавателю. Слышались фразы:

– Ой, а что там, наверху?

– Батюшки, неужели дирижабль?

– Что же такое там, на небе?

И так далее.

Я стоял, дожидаясь своей очереди, лихорадочно думал, что бы такое сказать. Решение пришло неожиданно, когда я подходил к толпе глазющих на небо.

– Уж не медведь ли? – спросил я, заинтересованно глядя наверх.

Все замерли. А потом раздались смешки.

– Что-о-о? – спросил преподаватель.

– Уж не медведь ли? – повторил я несколько неуверенно, глядя ему в глаза.

- Почему медведь? - В голосе педагога послышался металл.

- Ну... чтобы... смешно, - залепетал я.

- А мне не смешно! - зарокотал поставленный голос. - Чтобы больше это не повторялось!

Много-много лет спустя, уже работая в цирке, на одном из детских спектаклей на вопрос партнера: «Отгадай, что у меня лежит под шляпой?» - я наивно спрашивал: «Трамвай?» - и публика смеялась.

Может быть, тогда, в детской студии, я не так сказал, как нужно, а может быть, преподавателю отказало чувство юмора?

Хотя нет, как сейчас помню, одно из его заданий звучало так:

- Отрежьте свою голову, положите ее в чемодан и унесите со сцены.

До седьмого класса я учился в образцовой школе. А потом два седьмых класса решили соединить в один восьмой - часть ребят поступала в спецшколы, в техникумы, другие пошли работать, а на два восьмых класса не хватало учеников. В восьмой класс отбирали лучших по учебе и поведению. Я в этот список не попал. Как потом узнал, на педсовете долго обсуждали мою кандидатуру, решая вопрос, оставлять меня в школе или нет. С одной стороны, хотели оставить, потому что отец много делал для школы, но с другой - учился я средне, на уроках часто получал замечания...

Решение педсовета меня устраивало - появилась возможность перейти в школу-новостройку рядом с домом. В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, как и все, мог перелезть через забор, сокращая путь от дома к школе.

Груша из торгсина

В начале тридцатых годов в Москве открылись специальные магазины - торгсины (торговля с иностранцами). Те, кто имел золото или серебро, мог сдать его в торгсин и прямо в магазине получить в обмен продукты или промтовары.

Помню, тогда в нашей квартире долго обсуждали историю о старушке, которая принесла в торгсин самовар, а ей сказали:

- Иди, бабушка, домой. Мы медь не принимаем.

- А он не медный, - ответила старушка, ставя самовар на прилавок.

- Неужели серебряный? - заинтересовались приемщики и, взяв пробу, ахнули: самовар оказался золотым.

В молодости старушка слыла известной певицей. Однажды компания купцов-золотопромышленников пригласила ее на пароход, где она им много пела. Певица настолько пленила купцов, что они, сложившись, подарили ей небольшой самовар из чистого золота, на котором сделали надпись: «Нашему дорогому соловушке...».

- Где же вы хранили самовар? - спросили старуху.

Она сказала, что самовар стоял на полке на кухне в коммунальной квартире.

У меня в копилке лежал старинный царский двугривенный. От кого-то я узнал, что серебряные царские монеты принимают тоже. Перед днем рождения мамы я с одной из теток пошел в торгсин менять двугривенный на подарок.

Мы робко подошли к прилавку и подали двугривенный. Его приняли, но купить на царские деньги мы могли лишь сочную, красивую, обернутую в папиросную бумагу грушу дюшес. Так мы и сделали. Грушу я подарил маме.

И первая любовь...

Часто на моих днях рождения бывала она, моя первая любовь. Началась любовь в шестом классе. Небольшого роста, худенькая девочка со светлыми, аккуратно подстриженными волосами раньше не очень меня привлекала. Учился я с ней с первого класса. И в дом она к нам приходила часто, дружила с Ниной Холмогоровой. И вдруг на одном из уроков она посмотрела на меня так ласково своими зелеными, как у рыси, глазами, что я понял - в мире нет лучше и красивее этой девочки. С тех пор я стал часто о ней думать и смотреть на нее

по-другому. Через некоторое время решил проводить ее из школы до дома, хотя и пришлось для этого сделать приличный крюк.

По дороге говорили о любимых книгах: я – про Конан Дойля, она – про Эдгара По. С тех пор начали обмениваться книгами. Провожать от школы до дома вскоре перестал, боялся, что ребята начнут дразнить. Но любить ее продолжал.

Часто я рисовал в своем воображении такие картины: нападает на нее кто-то, а я ее защищаю. Когда она приходила к Нине в гости, сердце у меня начинало необычайно биться. Тогда я залезал на крышу самого высокого сарая в нашем дворе и терпеливо ждал, когда она выйдет из дома. Именно оттуда мне хотелось крикнуть ей: «До свидания!» – чтобы, обернувшись, она увидела, как бесстрашно стою я на самом краю крыши. А при мысли о том, чтобы признаться ей в любви и сказать, как она мне нравится, краснел. Казалось, она и не подозревала о моих чувствах. Разговаривала со мной так же, как и со всеми остальными ребятами из нашего класса. Я все чаще стал разглядывать себя в отцовское зеркало и страшно переживал, что голова у меня какая-то продолговатая, дынькой, как говорила мама, и нос слишком большой. Таким я казался себе в тринадцать лет.

Порой ее провожал в школу отец. Это был хмурый, неразговорчивый человек. Он доводил дочь до ворот и, сухо кивнув ей головой, шел на работу. А я думал: «Вот какой он, даже не поцелует. Ведь так приятно было бы ее поцеловать!» В своих мечтах я целовал ее бесконечно. Почему-то целовал в щеку или в макушку – там, где сходились ее беленькие волосы. Но потом, узнав, что она с отцом ходит регулярно тренироваться в стрельбе из винтовки, проникся к нему уважением и сам решил записаться в стрелковый кружок. Но после первого же занятия меня с приятелем из тира выгнали, потому что мы стреляли по лампочкам на потолке.

Помню, девочки Холмогоровы устраивали дома маскарад. Я оделся пиратом: шляпа, нарисованные углем усы, а за поясом настоящий кремниевый пистолет из сундука старика Холмогорова (с этим пистолетом когда-то воевал его дед в Крыму).

А девочка пришла в костюме Петера: в кино тогда шла модная картина «Петер» с участием знаменитой Франчески Гааль, которая в фильме переодевалась в мужскую одежду. Девочка надела большую кепку, широченный пиджак, лицо разрисовала веснушками и пела песенку Петера на немецком языке, смешно подтягивая широкие брюки. Я слушал и млел.

На уроке пения в школе мы хором разучивали песню Бетховена:

Гремят барабаны, и флейта поет,

Мой милый уводит отряды в поход.

Учитель пения вызвал к роялю меня и ее и попросил спеть песню на два голоса. Поем мы, а я представляю, что это она провожает меня в поход, а я – в латах, в руках щит и меч – сижу на лошади... Пою и чувствую, как краснею. Поем-то перед всем классом. Вдруг все поймут, что я ее люблю? Но моего состояния, к счастью, никто не заметил. Только она сказала потом на перемене:

– Что это ты пел и весь надувался?

Как-то в порядке наказания классный руководитель посадил меня рядом с ней за парту. Девочка всегда хорошо себя вела, и классный руководитель рассчитывал, что она положительно воздействует на меня. Больше радости, чем сидеть рядом с ней, трудно было себе представить. От восторга я стал выкидывать разные штучки, смешил свою соседку до слез. Райское житье длилось неделю. Кончилось тем, что меня пересадили на первую парту рядом с мрачным мальчиком-отличником, который не только не хотел разговаривать со мной на уроке, но и списывать не давал.

Когда я перешел в другую школу, мы перестали с ней видеться, но каждый день я вспоминал ее. Со всевозможными хитростями узнал у одной из девочек ее домашний номер телефона и один раз позвонил. Но, услышав резкий голос отца, бросил трубку на рычаг.

В новой школе из девочек никто не нравился, хотя в десятом классе любовь у нас процветала вовсю. А три пары из нашего класса сразу по окончании школы поженились.

«Спартак», «Динамо» и другие

Лет до десяти к футболу я относился довольно равнодушно, но отец все-таки часто водил меня на стадион посмотреть очередной матч. При этом, обращаясь к матери, он восклицал:

- Боже мой, ну что у нас за сын - никак к спорту не может привыкнуть!

Отец хотел, чтобы я знал и любил спорт.

И своего он добился. Я полюбил футбол и яростно болел за «Динамо», а отец - за «Спартак». Спорили мы, отстаивая каждый свою команду, до хрипоты. Дома у нас висела таблица футбольного первенства страны. Рядом с ней портреты футболистов. Одну из стен нашей комнаты мы посвятили футболу. На картоне я нарисовал, а потом вырезал фигурки футболистов, примерно по двадцать пять сантиметров каждая, и у каждого футболиста была своя форма. На стенке - гвоздики. Первый гвоздик - первое место, гвоздик пониже - второе место и так далее.

Под каждой фигуркой прикреплялась булавкой продолговатая бумажка, на которой крупными буквами писали количество очков, которое набрала команда, а ниже - количество сыгранных матчей.

По тому, как я рисовал фигурки, легко можно было определить мое отношение к командам. Плохая команда - игрок нарисован с распухшим лицом (в то время в футболе существовал такой термин - «эти припухли», «эти запухли» - значит, крупно проиграли), хорошая команда - фигурка футболиста красивая: игрок выглядит статным, волевым. Таким я нарисовал динамовца. Представителя «Спартака» я нарисовал несколько в утрированном виде. И один товарищ отца, часто бывавший у нас дома, потребовал, чтобы спартаковца я перерисовал.

Мой школьный приятель Шурка Скалыга «болел» за киевское «Динамо». Киевлянина я нарисовал с длинными усами, опущенными вниз, а поверх майки - украинская свитка.

У отца на столе лежали справочники и литература по футболу, которую он собирал с начала тридцатых годов.

Мы замирали у нашей тарелки-репродуктора, когда раздавались звуки футбольного марша, и ждали, когда на фоне шума стадиона зазвучит неповторимый, с хрипотцой, голос спортивного комментатора Вадима Синявского: «Говорит Москва... Наш микрофон установлен на московском стадионе "Динамо"...»

Были у отца свои приметы. Каждый раз, выходя из дома, он должен был обязательно потрогать пальцем «на счастье» кошку-копилку, поцеловать в голову нашу собаку Мальку, дать ей кусочек сахара и, проходя по переулку, подержаться за почтовый ящик у дома номер семь.

Однажды мы слушали по радио трансляцию футбольного матча. Играл «Спартак».

«Спартак» проигрывал 0:1, а до конца оставалось всего пятнадцать минут. В волнении отец подошел ближе к репродуктору и встал в дверях. И вдруг «Спартак» сравнял счет, а за минуту до конца забил второй гол и выиграл со счетом 2:1.

С тех пор каждый раз, когда играл «Спартак», отец, слушая радио, за пятнадцать минут до конца матча, независимо от того, какой был счет, вставал в дверях.

- Так будет вернее, - говорил он.

Обыкновенная школа

В нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешел, никакие делегации не приезжали, не приходили к нам и писатели, артисты не устраивали для нас концерты. Только один раз к нам пришла женщина в белом халате и целый час популярным языком учила нас, как уберечься от глистов.

Я покривил бы душой, если бы сказал, что в школе вел себя примерно. Нет. Когда чувствовал, что меня могут вызвать, а уроки не выучены, то прогуливал. За прогулы наказывали. И тут я придумал новый способ. Во время переключки я прятался под парту.

- Никулин, - говорил учитель.

- Нет его. Он болен! - кричал я из-под парты.

Учитель ставил в журнале отметку о моей болезни (это значило, что меня уже не могут вызвать к доске), и я тогда вылезал из-под парты.

Правда, однажды в конце урока историк вдруг посмотрел на меня и, не поверив своим глазам, спросил:

– Слушай, Никулин, тебя же нет, как ты появился?

– Что вы, Тихон Васильевич, – я старался говорить как можно увереннее, – я все время здесь, на уроке.

В классе всегда круговая порука, поэтому все подтвердили правоту моих слов.

На всякий случай меня пересадили за первую парту, чтобы я сидел перед учительским столом. Но от этого я не стал лучше.

Так, поспорив с кем-то из учеников, что смогу целый урок стучать карандашом по парте, я тут же принялся осуществлять свое намерение. С самого начала урока через каждые две-три секунды я тихонько стучал карандашом по парте, понемногу усиливая звук. Учитель постепенно привык к этому звуку и не пытался найти виновников, хотя стук в течение всего урока раздражал его. Этот странный психологический опыт мне удался, и пари я выиграл.

Увлекались мы и катанием карандашей под партой: все сидят вроде бы спокойно, а шум в классе невыносимый.

Всякое бывало в школе. Меня даже хотели исключить на две недели. Произошло это так. На перемене я зашел в соседний класс, а ребята возьми да и запри меня в шкаф.

Начался урок. Я сижу закрытый в шкафу. Мне это надоело, и я начал стучать.

– Кто это стучит? – строго спросила учительница.

Все в классе молчат. Только учительница начинает объяснение урока, я опять стучу.

– Кто стучит? – уже зло спросила учительница.

Все продолжали молчать. А мне надоело сидеть в духоте, я крикнул:

– Это я стучу, это я!

В классе хохот. Пока меня открывали, пока я изображал клоунаду «Освобождение», урок, в общем, оказался сорванным, за что и собирались меня на две недели исключить из школы.

Когда меня ругали за то, что я плохо запоминал даты, формулировки теорем, мать, защищая меня, говорила:

– У Юры плохая память, не надо его ругать.

– Ну да, плохая, – возражал отец, – раз помнит все анекдоты, значит, память хорошая.

Анекдоты я действительно запоминал отлично.

Когда я еще учился в образцовой школе, ребята со двора уговорили меня по-смешному здороваться с их немкой – Софьей Рафаиловной.

К великому восторгу своих товарищей, я встречал у ворот нашего дома полную женщину с портфелем, идущую неторопливой походкой по переулку, и, кланяясь низко, церемонно ей говорил:

– Здравствуйте, Софья Крокодиловна!

Все ребята хохотали.

Не думал я тогда, что встречу с ней на уроках в 346-й школе.

Конечно, Софья Рафаиловна меня запомнила, потому что здоровался я с ней (к удовольствию всех дворовых ребят) по многу раз. И может быть, поэтому, а скорее всего просто потому, что я плохо учил немецкий язык, у меня возникли трудности на ее уроках.

Отец, успокаивая меня, как-то пошутил:

– А ты особенно не огорчайся. Возьми и скажи ей, что немецкий учить незачем. Если же будет война с немцами, так мы с ними разговаривать особенно не будем.

Я последовал совету отца. На одном из уроков, после того как я долго не мог ответить на вопросы, Софья Рафаиловна меня спросила:

– Ну почему ты ничего не учишь?

– А зачем мне, – ответил я, – знать немецкий? Если будет война с немцами, мы с ними особенно разговаривать не будем.

Класс грохнул от хохота, а учительница обиделась.

Не считаясь примерным учеником, со многими учителями я все-таки дружил, и учиться у них мне нравилось.

Часто с теплотой я вспоминаю и образцовую и обычную школы, в которых учился. Остались в памяти и многие школьные друзья.

«Аттестат получите потом...»

Так мне сказали на школьном вечере, посвященном окончанию десятилетки. Последний школьный вечер... Это было летом 1939 года. На четвертом этаже школы десятиклассники праздновали окончание, и я оказался единственный в своем классе, которому не вручили аттестата. И все из-за чертежей, которые я не сделал. У меня потребовали сдать чертежи почти за весь год.

Последний вечер в школе. Танцы. Я не танцевал – не умел. На радиоле проигрывали модные пластинки того времени: «Брызги шампанского», «Девушка играет на мандолине», «Рио-Рита» и другие.

Учителя мило улыбались. Директор школы сказал нам свои добрые напутственные слова.

Вечер закончился около часа ночи, и мы пошли на улицу. Гуляли долго. Вернулся домой поздно, но меня никто не поздравил с окончанием школы. И правильно – я же не получил аттестата.

Целый месяц после школы пришлось сидеть дома и заниматься черчением. Закончив чертежи, я позвонил своему преподавателю и сказал:

– Здравствуйте, Никифор Васильевич. Это Никулин. Я сделал чертежи.

– Молодец. Приходи.

Пришел домой к учителю. Он долго расспрашивал меня о дальнейшей жизни, о планах. Угостил чашкой кофе. В конце нашей беседы он взял пачку моих чертежей, как-то странно улыбнулся и сказал:

– Молодец.

Потом взял и всю пачку порвал. Это был как удар по сердцу. В то же время я понимал: теперь аттестат заслужен честно. Никифор Васильевич при мне позвонил директору школы и сказал, чтобы аттестат выдали.

Иногда я приезжаю в переулок, где прошло детство. Переулок не узнать: осталась школа, осталась старая церковь. А там, где стояли четыре наших дома, значившихся под номером 15, вырос громадный многоэтажный домина, одно из парадных которого приходится как раз на то место, куда когда-то выходило крыльцо нашего одноэтажного деревянного домика с облупившейся зеленой краской.

Семь долгих лет

Многие люди пережили трагедию, но не о каждом писал ее Софокл.

Станислав Ежи Лец

Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходить с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная «карьера» моя за семь долгих лет – от рядового до старшего сержанта.

Смешное и трагическое – две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое и все грустное, что было в эти трудные годы, – второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, – я и постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал...

В армию меня призвали в 1939 году, когда еще не исполнилось восемнадцати лет.

Неужели не возьмут?

И вот приходит мне повестка:

Явиться в райвоенкомат.

Не плачь, не плачь, моя невеста,

Мне в руки дали автомат.

Из солдатской песни

«Неужели не возьмут?» – думал я после первого посещения военкомата, когда меня вызвали на медкомиссию и сразу же направили в туберкулезный диспансер. Я страшно переживал, боясь, что у меня что-нибудь обнаружат и не призовут. Наконец после нескольких медосмотров выяснилось, что я практически здоров. На последней комиссии в военкомате председатель, посмотрев на меня, сказал:

– Вы очень высокого роста, в бронетанковые части не годитесь. Мы думаем направить вас в артиллерию. Как, согласны?

- Ну что же, - сказал я, - артиллерия тоже неплохо.

Гордый, придя домой, я радостно сообщил:

- Призвали в артиллерию!

После «Женитьбы Фигаро»

18 ноября 1939 года в 23.00, как гласила повестка из военкомата, мне предписывалось быть на призывном пункте, который находился на Рязанской улице в клубе автомобилистов. День спланировали так: утром - парикмахерская (стрижка «под ноль»), днем в гости собрались съездить (попрощаться с родственниками отца), вечером - театр («Женитьба Фигаро» во МХАТе) и, наконец, домой, на прощальный традиционный чай.

Вечером все провожающие собрались у нас дома. Мама подала к чаю мой самый любимый фруктовый торт. Отец, как всегда, рассказывал смешные истории, анекдоты, как будто нам и не предстояла разлука. Мама собирала в дорогу рюкзак, в который положила пирожки, яйца, котлеты, сахар, пакет соли, конфеты, смену белья, зубной порошок, ручку-самописку, бумагу, конверты, две толстые общие тетради, сборник песен и мои любимые книги - «Бродяги Севера» Джеймса Кервуда и «Цемент» Федора Гладкова.

Бывалые люди говорили: «Одеваться в армию надо похуже - там все заменят». Но я надел то, в чем ходил всегда, потому что ни получше, ни похуже у меня ничего не было: брюки расклешенные, куртку на «молнии», шарф в полоску, пальто серое в елочку и кепку.

- Я не пойду тебя провожать, - сказала мама. - Боюсь расстроиться.

Попрощавшись с нею, я вышел из дому вместе с родными и близкими. Многих моих друзей тоже призвали в армию. (Почти перед самым окончанием школы вышел указ, по которому призывали в армию всех, кто закончил в 1939 году среднюю школу. Наш набор называли особым.)

Мама с собачкой Малькой на руках глядела нам вслед из окна, из которого она всегда звала меня со двора домой. Несколько раз я оглядывался и видел, как она

грустно улыбалась. Около клуба собралось много провожающих, больше, чем нас, уходящих в армию. У дверей стоял часовой с винтовкой. Я хотел войти, но он предупредил: «Обратно не выпускаем».

И я впервые понял: в армии будет строго. Прощай, детство, прощай, гражданка!

Последние поцелуи с отцом и друзьями. Я вошел в помещение призывного пункта, отметил у дежурного и, положив в угол рюкзак, сел на скамейку. Родители дали мне с собой 120 рублей. Такой суммы у меня никогда раньше не было.

Сидел в уголке и ждал, что будет дальше. Все время приходили новые люди. Даже в час ночи прибывали призывники. Таких, как я, явившихся по повестке в точно указанное время, оказалось мало. Под общий гул, сморенный усталостью, задремал. Около трех ночи нас вывели на улицу.

– Юра! – услышал я знакомый голос и оглянулся.

На другой стороне улицы стоял отец. Он, оказывается, ждал меня. Я не успел ничего сказать, потому что сзади закричали:

– Давай, давай залезай в машину скорей!

Мы сели в открытые грузовики, и я успел на прощание лишь помахать отцу рукой. Машины тронулись, и нас повезли по ночным пустынным улицам. Последний раз мелькнули Разгуляй, Земляной Вал...

Привезли нас на какую-то железнодорожную станцию недалеко от Красной Пресни, где мы провели почти сутки.

Все мы приглядывались друг к другу. Мне понравился один парень, веселый, симпатичный, с ладной фигурой, отлично пел песни, без усталости рассказывал смешные истории. Другой все хвалился, какая у него была цыганочка мировая, как она его любила и как провожала на призывной пункт. Третий, с лица которого все время не сходила улыбка – этим он и привлек внимание, – вспоминал маму, угощал всех шоколадными конфетами. Каждый из нас рассказывал друг другу о себе.

На станции нас повели в баню. Когда я разделся, все начали хохотать.

- Ну и фигурка у тебя: глиста в обмороке... Что, тебя дома не кормили?

Я, наверное, выглядел действительно смешным: тощий, длинный и сутулый.

Всю нашу одежду потребовали сдать для санобработки. Потом выяснилось, что кожаные вещи могли не сдавать, но я этого не знал. Ремень мой после обработки покорежился, съезжившиеся ботинки с трудом налезали на ноги. Одежда издавала резкий, неприятный запах. Ночью нас погрузили в товарный вагон - теплушки с двухъярусными нарами.

Лязгнули буфера, качнулся фонарь «летучая мышь», и мы поехали.

Ехали долго. Миновали Бологое. Куда нас везут? Одни говорили - в Воркуту, другие - в Мурманск, третьи уверяли, что в Ленинград. Время тянулось медленно. Дорога казалась бесконечной.

Ночью я проснулся и обнаружил, что из кармана исчез бумажник. Деньги давали ощущение обеспеченности, какой-то уверенности, а тут сразу - ни копейки. С ужасом подумал: неужели украли? Обшарил нары - бумажника не нашел. Спустился на пол и почувствовал что-то твердое под ногой. Бумажник. Видимо, когда я накрывался пальто, он выпал из кармана. Пересчитал деньги - целы. На всякий случай карман заколол английской булавкой.

Мы не узнаем друг друга

Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали «ура». Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили:

- На границе с Финляндией напряженная обстановка, город на военном положении.

Сначала шли по Невскому. Кругом тишина, лишь изредка проезжали машины с тусклыми синими фарами. Мы еще не знали, что город готовится к войне. И все нам казалось романтичным: затемненный город, мы идем по его прямым,

красивым улицам. Но романтика быстро кончилась: от лямок тяжеленного рюкзака заболели плечи, и часть пути я буквально волок его за собой.

Пришли на станцию Ланская, где прошли санобработку. Потом всем выдали шинели, гимнастерки, шлемы-буденовки, брюки галифе, кирзовые сапоги. Мы переоделись и с трудом узнавали друг друга. Подходит ко мне круглолицый парень и спрашивает:

- Ну, как дела?

А я молчу.

- Ты что, не узнаешь?! - И снял шлем.

Я смотрю, да это же мой сосед по теплушке. Как одежда меняет человека!

Как только нас разместили, я открыл свой рюкзак и ахнул, увидев сплошное месиво из пирожков, яиц, соли, сахара, конфет, зубного порошка. Вышел с рюкзаком из казармы и тайком все содержимое зарыл в снег. Три дня вместо месяца, как полагалось, мы находились на карантине, жили в одноэтажных казармах, в каждой по шестьдесят человек.

Как привыкают к армии

Сначала меня убивало слово «подъем». Семь утра. На улице еще темно. Пришла зима. Мы спим. И на всю казарму раздается громкое: «Па-а-дъем!».

Вставать не хочется, а надо. Никак я не мог научиться быстро одеваться. Поэтому становился в строй чуть ли не последним. Старшина во время подъема всегда кричал:

- Ну, пошевеливайтесь вы, обломчики!

Долго мы ломали голову, что за «обломчики». Потом выяснилось, что старшина сравнивал нас с Обломовым из романа Гончарова.

Все, что произошло в первый день после подъема, глубоко потрясло меня. Дома в прохладную погоду меня никогда не выпускали из дома без пальто, умывался всегда только теплой водой, а здесь вдруг вывели на морозный воздух в нижней рубашке, с полотенцем, обвязанным вокруг живота, и заставляют бежать полкилометра по замерзшей, звенящей под сапогами глинистой дороге. После зарядки прямо на улице умывались ледяной водой. Я мылся и с ужасом думал, что вот уже начинается воспаление легких.

В один из первых дней службы выстроил всех нас старшина и спрашивает:

- Ну, кто хочет посмотреть «Лебединое озеро»?

Я молчу. Не хочу смотреть «Лебединое озеро», ибо накануне видел «Чапаева». А с «Чапаевым» вышло так. Старшина спросил:

- Желаящие посмотреть «Чапаева» есть?

«Еще спрашивает», - подумал я и сделал два шага вперед. За мной вышло еще несколько человек.

- Ну, пошли за мной, любители кино, - скомандовал старшина.

Привели нас на кухню, и мы до ночи чистили картошку. Это и называлось смотреть «Чапаева». В фильме, как известно, есть сцена с картошкой.

Утром мой приятель Коля Борисов поинтересовался: как, мол, «Чапаев»?

- Отлично, - ответил я. - Нам еще показали два киножурнала, поэтому поздно и вернулись.

На «Лебединое озеро» из строя вышли четверо. Среди них и Коля Борисов. Они мыли полы.

Через несколько дней всех распределили по разным подразделениям. Я попал во второй дивизион 115-го зенитного артиллерийского полка, где меня определили на шестую батарею. Она располагалась около города Сестрорецка. Рядом Финский залив, недалеко река, лес.

Время от времени на батарее объявлялись учебные тревоги. Били железякой по рельсу, и тогда из всех землянок, одеваясь на ходу, бежали бойцы и занимали свои места. В центре огневой позиции стоял командир батареи с секундомером и проверял готовность к открытию огня.

На батарее около ста человек. Старослужащие встретили нас, новичков, довольно скептически и порой подшучивали, разыгрывали. Старослужащие старше нас на три-четыре года, но мы считали их людьми другого поколения.

Солдатскую науку каждый из нас усваивал довольно быстро. Одно из правил этой науки – уметь смеяться не только над другим, но и над собой – я усвоил в первые же дни. Если окружающие, не дай бог, поймут, что ты обижаешься, «заводишься», когда над тобой шутят, то тебя засмеют вконец.

Служил с нами боец, здоровенный детина. Поначалу из-за огромного роста и силы его назначили заряжающим. Но после того как он на первом же занятии попытался зарядить пушку с дула, его моментально с заряжающего сняли. Все, конечно, над ним долго смеялись. А он страшно обиделся и переживал. И над ним начали еще больше смеяться и разыгрывать: то портянки ему узлом завяжут, то вместо мыла камешек подложат... Любил этот боец играть на мандолине. Сядет где-нибудь в углу и тренькает одну и ту же мелодию – «Светит месяц». Надоел всем безумно. Однажды сел он, как обычно, в свой уголок, взял мандолину, провел по струнам... А вместо струн оказались нитки. В землянке все засмеялись, а он со злости взял да шарахнул мандолину о печку.

Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно, все со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах. Про себя я злился, но в то же время смеялся вместе со всеми. Что меня и спасало от дальнейших насмешек.

На батарее не было водопровода, за водой ездили на машине. Когда подъезжали к колодцу на окраине Сестрорецка, старослужащие уходили к знакомым женщинам, а нас, новичков, заставляли таскать воду. Им хорошо в теплом доме, а нам на холоде тяжко. И мы старослужащим завидовали, но на них не обижались. Старослужащий есть старослужащий, а новичок должен его уважать.

Получали мы и «зарплату» – денежное довольствие.

Как только появлялись деньги, сразу покупали булочки, повидло, сахар, печенье. Больше всего скучали именно по сладостям и белому хлебу.

После того как на батарее под Сестрорецком в торжественной обстановке приняли присягу, мы стали полноправными бойцами. Не верилось, что теперь нам доверят оружие. А ведь, казалось бы, недавно завидовали мне ребята нашего двора, когда я, десятилетний мальчишка, вышел к ним с настоящим ружьем. Во дворе мы часто играли в войну, пользовались пистолетами, выпиленными из дерева, пугачами, игрушечными саблями. Моя тетка в то время работала в детском саду. Помню, пришла она к нам и, увидев кочергу, которой мама помешивала головешки в печке, сказала:

– Хорошая у вас кочерга. А мы в детском саду мучаемся, у нас вместо кочерги ружье.

– Как ружье? – не поверив, спросил я.

– Да так, настоящее ружье, дуло есть, приклад.

– Вот бы мне его! – сказал я мечтательно.

– А чем же мы печку мешать будем? – спросила тетка.

После того вечера теткинo ружье не давало мне покоя – я все время думал о нем. Проводя каникулы в Смоленске у бабушки, я уговорил ее сходить на рынок и купить кочергу. Вернувшись в Москву, торжественно вручил кочергу тетке и получил от нее ружье – малокалиберную винтовку выпуска 1890 года, с чуть оплывшим от огня дулом и настоящим прикладом. Стрелять из нее, конечно, было нельзя: нет ни пружин, ни затвора, но разве это имело какое-нибудь значение? Во дворе все ребята играли по очереди с винтовкой, а я даже с ней спал.

Теперь, после принятия воинской присяги, мне выдали настоящую винтовку. А когда шел на пост, получал и боевые патроны. Я держал винтовку в руках и вспоминал свое детство. И где-то казалось, что я продолжаю играть, как играл

когда-то с ребятами во дворе. Военным я себя не очень-то воспринимал, хотя к гражданским и начал относиться чуть иронично.

Так проходили первые дни моей службы в армии. А ведь всего-то десять дней назад я в Москве смотрел в театре «Женитьбу Фигаро».

В жизни раз бывает восемнадцать лет

Учебные тревоги и раньше проводились довольно часто. А тут тревога какая-то особенная, нервная. Собрали нас в помещении столовой, и политрук батареи сообщил, что Финляндия нарушила нашу границу и среди пограничников есть убитые и раненые. Потом выступил красноармеец Черноморцев – он всегда выступал на собраниях – и сказал, что молодежи у нас много, а комсомольцев мало.

Я тут же написал заявление: «Хочу идти в бой комсомольцем».

Через два часа запылало небо, загремела канонада: это началась артподготовка. В сторону границы полетели наши бомбардировщики и истребители.

На третий день войны после продвижения наших войск в глубь финской территории от нашей батареи выставили наблюдательный пункт в Куоккала (теперь станция Репино), на который послали семь человек старослужащих. Они, приезжая на батарею за продуктами, рассказывали, что финны покинули дома после первых же выстрелов. Старослужащие привезли с собой кипы книг на русском языке: собрания сочинений Дюма, Луи Буссенара, Майн Рида, Луи Жаколио и Генриха Сенкевича.

Командование нас предупреждало, что никакие продукты, найденные в финских домах, есть нельзя, они, мол, все отравлены. Поэтому все замерли, когда с наблюдательного пункта нам прислали бочонок с медом, взятый в одном из финских домов. Все стояли и смотрели на него со страхом. Обстановку разрядил длинный белобрысый разведчик Валя Метлов. Он зачерпнул мед столовой ложкой, отправил его в рот, а затем, облизнув ложку, авторитетно заявил:

– Не отравлено.

Через полчаса бочонок опустел. Никто не отравился.

Я скучал по дому. Часто писал. Писал о том, как осваивал солдатскую науку, которой обучал нас старшина. Оказывается, из-за портянок, которые надо наматывать в несколько слоев, обувь полагается брать на размер больше. И хотя многое из премудростей солдатской науки я освоил, все-таки однажды сильно обморозил ноги.

Нам поручили протянуть линию связи от батареи до наблюдательного пункта. На мою долю выпал участок в два километра. И вот иду один на лыжах по льду Финского залива, за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем. Не прошло и получаса, как почувствовал страшную усталость. Поставил катушки на лед, посидел немного и пошел дальше. А идти становилось все трудней. Лыжи прилипают к снегу. Я уж катушки на лыжи положил, а сам двигался по колено в снегу, толкая палками свое сооружение. Вымотался вконец. Снова присел отдохнуть, да так и заснул. Мороз больше тридцати градусов, а я спал как ни в чем не бывало. Хорошо, мимо проезжали на аэросанях пограничники. Когда они меня разбудили и я встал, ноги показались мне деревянными, чужими. Привезли меня на батарею.

– Да у тебя, Никулин, обморожение, – сказал после осмотра санинструктор.

Отлежался в землянке. Опухоль постепенно прошла. Исчезла краснота, но после этого ноги стали быстро замерзать даже при небольшом морозе.

Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто граммов водки в день. Попробовал я как-то выпить, стало противно. К водке полагалось пятьдесят граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Лишь 18 декабря 1939 года выпил положенные мне фронтовые сто граммов: в этот день мне исполнилось восемнадцать лет. Прошел ровно месяц со дня призыва в армию.

Мысленно я был дома

В отдельном маленьком помещении на батарее, напоминающем каземат, круглые сутки сидели дежурные телефонисты.

У телефона часто приходилось дежурить и мне. Наши позывные – «Винница». В трубке то и дело слышалось: «“Армавир”, “Богучар”, “Винница”, как слышите?»

Я докладывал:

– «Винница» слышит хорошо.

Иногда раздавалось: «“Армавир”, “Винница”, “Богучар” – тревога!»

И дежурный телефонист объявлял на своей батарее тревогу.

В ту зиму стояли страшные морозы. И хотя на дежурство я приходил в тулупе, под которым были телогрейка и шинель, на голове шерстяной подшлемник, буденовка, на ногах валенки, холод, казалось, проникал до костей. В телефонке еле-еле горела, скорее мерцала, маленькая лампочка, бетонные стены покрыты сверкающим инеем. Печку топить не разрешали. Это могло нас демаскировать. Иногда возьмешь газету и подожжешь. На секунду становилось теплее, а потом холод казался еще сильнее.

Я знал в армии многих людей, которые редко вспоминали родной дом. А я скучал, грустил. Сидишь ночью на дежурстве и невольно думаешь о Москве. Иногда закрываю глаза и мысленно иду пешком по Комсомольской площади.

Отчетливее всего при этом видишь стадион, поворачиваешь направо, проходишь мимо редакции одной из московских газет, минуешь строящийся дом, останавливаешься у мясного магазина, проходишь мимо парикмахерской, в которой мы всегда с отцом подстригались у одного и того же мастера. (Во время стрижки парикмахер рассказывал забавные истории, а также сообщал новости из жизни своего сына, которого я никогда не видел, но отлично знал по рассказам.)

От таких воспоминаний становилось легче, как будто действительно побывал дома.

О жизни родных я знал все до подробностей. Писем получал больше всех на батарее. Многие мне завидовали. Писали мне отец с матерью, тетки, друзья и даже соседи.

Сижу в телефонке и продолжаю «путешествие» домой. Вот прохожу мимо гастронома. Меня встречает отец. Мы с ним, как и раньше, идем в магазин и покупаем вкусное к чаю: сто пятьдесят граммов печенья, сто граммов «подушечек», сто граммов халвы. Потом прохожу мимо аптеки и сворачиваю в Токмаков переулок. Останавливаюсь около нашего дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/yuriy-nikulin/pochti-serezno-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)